

Глава первая

Собачьим полем называли пустырь на задах динамовского стадиона. Густая черёмуховая аллея отделяла его от бассейна и танцплощадки, от всего остального парка. Внешней границей служил дощатый забор, своим изгибом повторяющий излучину Ушаковки. Изредка здесь тренировались футболисты. Размеры и форма площадки не соответствовали стандарту, покрытие было травяное, но из травы дикой, растущей самосевом. Центр, участки в штрафной площади и вблизи ворот вытаптывались до основания, до грубых речных отложений из песка и галечника. Но тем сильнее бурьян и крапива разрастались по обочинам. В часы, свободные от тренировок, Собачьим полем завладевала рабочедомская пацанва, затевались баталии между дворовыми командами.

Так уже получалось, что добрая половина воспоминаний Константина Сергеевича из школьной поры поневоле связана с Собачьим полем: его детство и предвоенная юность проходили поблизости, они с матерью жили рядом со стадионом, в двухстах шагах от тренировочной площадки. Конечно, за сорок лет многое позабылось, но, как у всякого человека, в прошлом у него были события и поступки, которые и хотелось бы вычеркнуть из памяти, да не получалось.

В Иркутск поезд прибыл в первом часу ночи. Сейчас только Константин Сергеевич сообразил, что вовсе не следовало ему так спешить: мог сесть на другой поезд, приехать утром, а то и днём. Но сделанного не воротишь.

Сколько уже раз он получал открытки и письма с приглашением на очередную встречу выпускников своей школы, но всегда отнекивался, откладывал на потом, на будущее, в котором, мнилось ему, свободного времени будет больше – он выйдет на пенсию. Порывы провести родину, где прошли детство и юность, были. Казалось, что без этого и предстоящая смерть – никто ведь от неё не застрахован – будет вдвое горше. Но свидание с Иркутском, со своим прошлым, со школьными друзьями рисовалось ему в неопределённой перспективе. Он даже любил помечтать, окрашивая сцены узнаваний и встреч в сентиментальные трогательные тона.

Он отдыхал, точнее, лечился на Местном курорте неподалеку от Читы. Открытка и письмо пришли на его домашний адрес. Квартирные соседи с оказией переслали Константину Сергеевичу всё, что за три недели скопилось в почтовом ящике. Открытка была серийная, поздравительная с Днём Победы. На ней четкими буквами, старательно выведенными детской рукой, написано приглашение приехать в школу на встречу выпускников военных лет. Будь только открытка, так он скорей всего отложил бы её в сторону, в который раз посетовав, что ему недосуг. Но было ещё письмо от Кешы Кудрявцева:

«Костя, приезжай! Больше, может быть, не доведётся: чую, старая с косой подкралась за спину. А мне, честно говоря, больше всего хочется тебя повидать. Приезжай! Прошу!»

Кеша – теперь уже не Кеша, а Иннокентий Михайлович – не из разряда нытиков, если он упомянул про старуху с косой, так не ради красного словца. Да и то принять надо в расчёт, не молоды – седьмой десяток разменяли. А Кешу ещё и на войне искалечило – еле выцарапался. Небось сейчас все это сказалось.

– А в самом деле, почему бы не нынче? – вслух спросил себя Константин Сергеевич.

И тут же начал собираться. До окончания срока путёвки оставалось три дня. И ещё столько же до конца отпуска. Времени хватит с лихвой.

По новой дороге – пожалуй, для него одного она и была новой – ехал впервые. Сколько раз за последние годы бывал в Москве, но всегда летал самолётом, минуя Иркутск, с посадкой

в других городах. Всё ему теперь было незнакомо. Не верилось, что подъезжает к родному городу. Поезд спустился в долину Иркут, шёл по закруглению, где насыпь прижималась к береговому отвесу. Вечерние огни во множестве светились на обоих берегах. Они только вносили путаницу в его представления.

«Куда же мы тут ходили за черемухой?»

Состав развернулся сначала вправо, потом влево, и сразу открылась Ангара. Блики электрических огней струились по речной глади. Противоположная городская сторона светилась множеством окон и цепочкой прибрежных фонарей вдоль набережной. Единственное, что он узнал, был ангарский мост, контурно обведённый огнями праздничной иллюминации.

Но уже на перроне на него повеяло давним, памятным: приторные запахи мазута и угольной гари, неизбежные для любой станции, даже и там, где поезда ходят на электрической тяге, растворялись в прохладной и влажной свежести, несомой от Ангара.

Подземным переходом вышел в незнакомую ему стекляшку. За ней оказалась стоянка такси. Слева над крышей трехэтажного дома светилось табло, указывающее московское время. Мимо со скрежетом проходил трамвай. Все это было настолько далеко от его представлений, что не зная он, где сейчас находится, так и не подумал бы про Иркутск. Ничего похожего в предвоенную пору здесь не было.

Место в гостинице он забронировал через свой главк. Перед самым отъездом справился по телефону, узнал, в какой гостинице, – сказали: в «Ангаре». В его бытность такой гостиницы не было, он помнит одну «Сибирь». Расспрашивать, где находится новая гостиница, не стал – взял такси. Благо на привокзальной площади в этот поздний час скопилось разливанное море зелёных огоньков.

И вот, когда такси тронулось, он глянул направо – защемило сердце: вдруг увидел здание старого вокзала, до этого не замечаемое им, – удивительно знакомый облик, неосознанно хранящийся в памяти. Мелькнула картина из давнего-давнего: булыжная мостовая, извозчичьи пролётки, фонари у входа в вокзал...

«Вот, оказывается, какой я древний – помню даже извозчичью пору».

И тут же в памяти оживился понтонный мост, по которому медленно, толчками катилась пролётка, по деревянному настилу стучали лошадиные подковы, слышалось, как бурлила вода, под напором прорываясь между бревенчатыми связками, зыбко колыхались понтоны, проседая под колесами груженных телег идущего навстречу конного обоза...

Такси катилось по изгорбине моста, который единым гудом отзывался на грузке от проходящих по нему трамвая и машин. Плеск воды сюда не достигал.

Константин Сергеевич вспомнил насыпной барак, сколоченный ещё строителями бетонного моста и служивший жильём в предвоенные годы. Пока на съезде с моста он высматривал старый барак, такси вильнуло направо, налево – промелькнули незнакомые здания, и он уже не мог сообразить, по каким улицам они едут. Немного спустя машина остановилась у гостиничного подъезда.

Позднее, уже расположившись в номере, приняв душ, он долго стоял у окна, пытаясь сориентироваться. Судя по времени, затраченному на езду, гостиница находится близко, в центре. Но где? Внизу под окнами просторный сквер, совершенно незнакомый ему. И только увидев на противоположной стороне в левом углу площади закругленную стену гостиницы «Сибирь», он разобрался, и сразу все стало на свои места. Сквер разбит на бывшей Тихвинской площади – на обширном пустыре, вокруг которого прежде росли только два ряда тополей, а посередине лежала забутованная голая земля.

Теперь нужно было хорошенько выспаться. Наклонность к бессоннице, свойственная ему всегда, с годами усилилась. Особенно плохо спалось на новом месте. Не нужно сейчас ничего вспоминать, всё выкинуть из головы, тогда он сумеет заснуть. Но одно дело знать, другое управлять своими мыслями.

Шло лето тридцать восьмого года. Косте исполнилось пятнадцать, осенью он пойдёт в седьмой класс. Прежде в классе он был в числе малолеток, теперь ходил в переростках. Благо он не был одинок и потому не испытывал неудобства. Запас растерял из-за болезни. Они с матерью давно уже не жили в квартире, которую занимали при отце. Им отвели комнатёшку в коммунальном доме посреди большого двора в Гончарном переулке. Учился Костя в школе, которую построили на его глазах. От их дома до школы немногим больше ста шагов. Классные комнаты окнами выходили на Гончарный.

Квартира, где они поселились после смерти отца, не шла ни в какое сравнение с прежней в центре города. Костю это не печалило, совсем немногие тогда жили лучше. Комната крохотная, добрую треть её занимала печь с плитой. На Косте лежала обязанность протапливать её, носить из кладовки дрова, уголь, щепать лучину на растопку. Помимо плиты, в комнате помещался стол – он и кухонный, и столовый, и там же Костя готовил уроки, – два табурета, кровать и старинный сундук, окованный железом. Днём сундук служил вместо скамьи, а ночью Костя на нём укладывался спать. По мере того как Костя подрастал, к сундуку приставляли табуретки, сначала одну, потом и другую. Он привык к своей импровизированной кровати. Зато после, в войну, когда ему пришлось перейти на казарменные нары, а случалось, и на пол, на землю, он не страдал от неудобств. И может быть, по этой же причине теперь не мучается ишиасом, как большинство его коллег-геологов, которые в детстве не получили подобной закалки.

Тылы двора, где они жили, примыкали к стадиону «Динамо». В дощатом заплоте имелось множество потайных и вовсе не потайных лазов, через них вся окрестная пацанва проникала на стадион, не тратя денег на входные билеты. В том же дворе жил некто дядя Вася, в недавнем прошлом динамовский футболист, который к своим тридцати пяти годам ухитрился отпустить пузо и облысеть. Звёздный час дяди Васи давно минул, на футбольном поле он не появлялся, устроился работать при стадионе не то сторожем, не то завхозом. Он никогда не ходил через ворота, всегда сквозь дыру в заборе. Огольцов из своего двора он не преследовал, отлично понимая, что ему рискованно наживать недругов среди рабочедомского жиганья. Но чужаков с городской стороны Ушаковки он преследовал рьяно. Ревностными помощниками в этом ему были пацаны из их двора, а случалось, и вся босоногая рабочедомская ватага. Беззаконное вторжение на территорию стадиона пришлых с Горы расценивалось как посягательство на чужую вотчину.

Случай, который припомнился Константину Сергеевичу, отчасти связан с давно уже изжитым чувством собственности. Уснуть он все равно не мог. Настоящей тишины в номере не было, она постоянно нарушалась либо шумом машин, проходящих мимо, либо внутренними гостиничными звуками: кто-то в неурочный час мылся под душем, в соседнем номере спустили воду в унитазе, в другом месте не то пела хмельная компания, не то включили магнитофон...

На задворках стадиона, позади пруда, затерялась небольшая аллея, вернее, обрывок аллеи не более сорока шагов длиной – уютный тенистый уголок. Аллейка была самой дальней, если мерить от главного входа, зато с дырой, через которую проникали пацаны, рядом. Незаметная тропинка вдоль глухого забора, напрочь заросшая крапивой и лопухами, приводила в аллею, минуя заводу. Здесь вода, протекавшая через бассейн и пруд, попадала в небольшой овражек и бурливым ручьём впадала в Ушаковку. В ложбине, прорытой сточной водой до первородного галечника, обнажился древний колодезный сруб. Когда и кем был вырыт колодец и почему его погребло под наносами, не мог припомнить никто из старожилов. Верно, старуха Жиздрева, обитавшая в насыпной хибаре, пристроенной к старому амбару, уверяла, будто на этом месте в незапамятную пору стояла мельница, и колодец был во дворе мельника. Но так ли было на самом деле, Жиздриха поручиться не могла, той мельницы она не застала.

Как и во все времена, пацанов привлекали наиболее глухие места, куда взрослые заглядывают редко. В то жаркое утро Костя и ещё двое ребят, живших по соседству, пробрались в заброшенную аллею, затеяли там состязание в стрельбе из самодельных

духовых ружей. Кроме Кости был мальчишка из параллельного класса Колька Сизых. Кто был третьим, Константин Сергеевич запомнил. Да теперь это и не имело значения. Пульками для их ружей служили зелёные завязи будущих черемуховых плодов. Ядрышки были совсем ещё мелки, состояли из косточки и твердой зелёной кожуры, ничуть не похожей на сладкую, вяжущую мякоть осенних ягод.

Отчасти по этим ягодам Константин Сергеевич и смог теперь, спустя без малого полвека, определить, в какую пору года происходило — в июне. Черёмуха уже отцвела, но плоды только-только завязались.

Не очень ему хотелось начинать свои воспоминания с этого случая. Но таково уж свойство памяти: поступки, которых стыдишься, не забываются.

Итак, история началась в июне. О том, что это история, а не случайный эпизод, что будет продолжение, он тогда не подозревал.

В самый разгар состязания посреди черёмуховой аллеи появились трое: девочка примерно одних лет с Костей, щуплый мальчишка, ростом на полголовы ниже своей сестры, и с ними малышка, первоклашка или дошкольница. Старшие мальчик и девочка ничуть не походили друг на друга, но малышка роднила их: своей нескладностью, худобой и круглыми очками походила на брата, а лицом, тем, как она вскидывала брови и округляла глаза, на старшую сестру. Поэтому Костя с беглого взгляда и признал в них брата с двумя сестрёнками. Что они тут делали одни без взрослых? Как осмелились забрести в самый заповедный угол чужих владений! Ясно, что они не рабочедомские — пришли с другого берега, с городской стороны. Будь местными, так если не Костя, то кто-нибудь из его компаньонов видел бы их раньше. Не запомнить такого доходягу очкарика невозможно. Не так уж много окрестных мальчишек носили очки.

Появление чужаков восприняли как вызов, чуть ли не оскорбление. Надел очки и думает, ему всё можно, его не тронут, не обидят. Так примерно подумал тогда каждый из них.

Кому первому взбрело в голову стрелкнуть в них из своей дудки, сейчас не вспомнить. В одном уверен — не ему. Всё-таки задирать соперника явно слабее себя не делало чести, для этого нужен основательный повод. У того, кто стрелкнул, конечно, не было серьёзных намерений, хотел припугнуть.

Черёмуховое ядрышко угодило в малышку, в обнаженное плечико. Девочка ойкнула, ладошкой поймала ушибленное место. С укоризной и детским страхом вскинула глаза на обидчика.

Очкастый мальчик решительно выступил вперед:

— Не смейте обижать!

Вид у него был скорее комичный, чем геройский. На его месте полагалось поджать хвост, униженно промямлить: «Что мы вам сделали?» А он на тебе: «Не смейте обижать!»

Все трое невольно рассмеялись.

Если бы происшествие на этом закончилось, так Костю бы не мучила совесть. Они бы посмеялись над очкариком, тот потихоньку ретировался и увёл бы своих сестёр. Назавтра никто бы и не вспомнил про них.

Но один из Костиных приятелей не удержался, стрелкнул вторично, на этот раз метя поверх голов. Младшая девочка сжалась от страха, прячась за спину своего заступника. Старшая дергала его за рубаху, урезонивала:

— Павлик, не надо, не ввязывайся! Пошли.

Ей хотелось избежать опасности, уйти. Её большеглазое лицо, испятнанное тенями от черемуховой листвы и веток, выражало одно чувство — удержать своего отчаянного, несмышлёного брата от непоправимого поступка.

Чем воинственней становился мальчишка, тем сильнее позади него трепетала от ужаса младшая девочка, губки её дрожали, по щекам текли слёзы. Заплакать громко она не смела. Костя хотел вмешаться, пристыдить своих дружков, но опоздал.

— Гля на него — лягушонок в очках.

В словах заключалась доля истины: пришлый мальчишка и впрямь походил на нескладного лягушонка.

Неожиданно обидное сравнение болезненно задело младшую девочку, слёзы у неё мгновенно высохли, глазёнки за стёклами очков вспыхнули. Она стала копией своего брата. – Сам ты лягушонок.

– Гля... – обидчик на мгновение оторопел. – Исчезни, головастик! Марш, покуда ноги не вывернул.

Он приложил дудку ко рту и пульнул. Твердое ядрышко с лета угодило малышке по лбу и отскочило почти на метр. Её личико перекривилось, девочка громко разревелась.

– Бандит! Белогвардеец! – вспылil мальчишка, в его руках очутился перочинный ножик.

Безрассудный порыв его отваги и крохотное лезвие, блеснувшее на солнце, обратили троих жиганов в бегство. Кто из них рванулся бежать первым, трудно сказать – страх и паника действуют заразительно.

Очухались на берегу Ушаковки. Не заметили, как проскользнули сквозь собачий лаз под колючкой. В месте, где сточная вода прорыла канавку, дощатый забор не имел опоры, повисал в воздухе, держась только на жердяных перекладинах. Внизу под досками оставалось пространство. Дыру заделали колючей проволокой, нижняя плеть её касалась воды. Но когда стока не было, как теперь, можно было по сухому галечнику прошмыгнуть на карачках. Этой лазейкой они и воспользовались.

Видимо, все трое осознали, что вели себя позорно – праздновали труса. Одно это чувство владело тогда и Костей. То, что они вели себя гадко, недостойно, временно отодвинулось на второй план. Было мучительно стыдно за свою трусость.

– Во, падла, с ножом!

Никто не поправил Кольку Сизых: им всем хотелось представить дело так, будто в руках у очкарика появился не безобидный перочинник, а чуть ли не финка. Это давало хоть какое-то оправдание их позорного бегства.

– Я ему покажу белогвардейца. Сам колчаковец!

Среди прибрежного камешника Колька выбрал продолговатый окатыш. Он более остальных сознавал себя оскорблённым и обиженным: ведь это его обозвали белогвардейцем.

Как хорошо, что Павлика с сёстрами они не застали на прежнем месте. Те как сквозь землю провалились. Побей они тогда мальчишку на глазах его сестёр – при этом наверняка досталось бы и девчонкам, – ничем не смываемое пятно позора легло бы на Костину совесть. И без того тошно вспоминать даже и сейчас, полвека спустя. Будто всё происходило вот только что, не далее чем вчера. Дурные поступки, за которые бывает стыдно, время не изглаживает из памяти.

Глава вторая

Посреди лета Костя уехал на сенокос. Без дополнительного приработка им с матерью было не свести концы с концами. Косте необходимо было обновить одежду: всё на нем износилось, обветшало, из всего он вырос. А у него и были-то лишь залатанные штаны и рубаха с кожаными налокотниками. Собственно, от штанов и рубахи уцелели одни заплаты. Костина мама сама придумала пустить на них отцовские ичиги: на рукава сделала налокотники, штаны в паху и на коленях усилила кожаными накладками. В такой обмундировке Костя проходил две зимы. В школе его не просмеяли, как он ожидал, – все почему-то решили, что кожаные накладки не от бедности, а для форсу, чтобы походить на бравого комкора времён гражданской войны. В классе Костю считали выходцем из обеспеченной семьи. Если, бывало, через школу распределяли кой-какую одежду, так Костю никогда не включали в списки нуждающихся, и сам он не набивался.

Этому способствовало и то, что в многочисленных анкетах, какие в ту пору заполнялись даже и школьниками, он в графе происхождения указывал: «из семьи служащих». А ведь вполне мог проставить – из рабочих. Костин отец был сыном мастерового, в специалисты,

в техники, пробился исключительно своим упорством и способностями. А Костина мать значилась в крестьянском сословии, хотя родители её были исконные горожане, живущие портняжным промыслом и мечтающие записаться в мещанское сословие. Под конец жизни они даже скопили нужную для этого сумму. Но тут как раз разразилась германская война, а последовавшая вскоре революция упразднила звание мещанина. За словом сохранилась только уничижительная кличка обывателя, ограниченного и малокультурного. Костю никто бы не смог обвинить в укрывательстве. Данные анкет вряд ли и проверялись, разве что в редких, особых обстоятельствах. Ведь сколько тогда людей в графе «занятие родителей до революции» заносили своих отцов в подпаски. Только среди живущих в Иркутске подпасков хватило бы пасти скот по всей стране. Впрочем, доля истины в этом была. Кому в ту пору из выросших в деревне или на городской окраине, будучи подростком, не приходилось пасти корову, телку или козу? Косте и выдумывать не нужно было: по документам его отец — сын рабочего, мать — крестьянка.

Однако тщеславие одержало верх над благоразумием: Косте хотелось выделиться.

Бог весть почему, но среди соседей по коммуналке и во дворе утвердилось мнение, что Бушуевы могли бы прожить и вовсе не работая, на одни сбережения, какие остались у них после смерти Костиного отца. Считали, что Костина мама Вика Анатольевна устраивалась уборщицей, судомойкой или больничной сиделкой из непонятного куража, свойственного выходцам из господ. Никто бы не поверил, что живут они в постоянной бедности, много хуже тех из жильцов коммуналки, которые вечно плакались на нужду. Единственное богатство Костиной мамы была швейная машинка, действительно оставшаяся от прежней безбедной поры. Но и швейная машинка не принесла бы им ничего, не умей Вика Анатольевна искусно кроить и шить. И Костю и себя обшивала. Прежние свои наряды перелицовывала и перекраивала по нескольку раз, и всегда они выглядели как новые, модные. Какая-нибудь вставка, нашивка, карманчик, оборочка, новая складка придавали перелицованному второй раз платью новизну.

И ведь знали, что Вика Анатольевна умелица, соседки нередко пользовались ее советами, а то и бесплатными услугами — мать никогда не брала денег за свою работу, — а все равно в их мнении Бушуевы оставались богатыми наследниками спеца, некогда — предположительно при старом режиме — накопившего немалые богатства. Эта нелепица держалась прочно.

Костя каждое лето вместо пионерлагеря выезжал с бригадой «Золототрансовских» сенокосчиков заготавливать сено для конного обоза. В школе знали про это, но почему-то все были убеждены, что работает он не ради денег. Чудит. Нравится парню деревенское приволье, полюбилась цыганская кочевая жизнь в шалашах и балаганах, вечерние костры, а главное — кони. Почти целое лето Костя имел дело с лошадьми. Отчасти всё именно так и обстояло: и лошадей, и вольную кочевую жизнь в брезентовом балагане Костя любил, и если ненароком заходил разговор, так ещё и подчеркивал, что нравится ему на сенокосе. Но ведь там было и другое: каждодневная, изматывающая работа от темна до темна. Настоящий-то сельский труд знали немногие из его одноклассников, такие, как Кеша Кудрявцев, чьё детство прошло в деревне и кто смала вдосталь отведал потной работы, не только в охотку, но и по нужде — когда хочешь не хочешь, а делай что заставят, не всегда даже и по твоим силам. Конечно, на сенокосной страде от «Золототранса» было чуток полегче, непосильную работу Костю не принуждали делать, но и послабления на возраст не давали: поставили тебя копнить, так отдуваешься наравне с мужиками.

Обычно к началу школьных занятий Костя возвращался, хотя сенокосчики продолжали ещё работать: в летние месяцы не успевали управиться, прихватывали сентябрь, скашивали пожелтевшие, утратившие сочность травы.

В том году Костя задержался до половины сентября. Бригадир чуть не слезно упрашивал его, и Костя согласился. Рассудил, что не будет ничего страшного, если он пропустит в школе первые две-три шестидневки — после наверстает. Мать он известил, что задержится, а сообщить в школу не надоумился.

Работа выпала не тяжёлая – подавать сено в жерло прессовалки, но однообразная, нудная. Ко всему привычный старый Чалка размеренно ходил по кругу, приводя в движение вал машины. До одури пахло перестоявшими травами, тленом иссохшего пырея, засушенной на корню клубники. Хрустело сминаемое сено, взвизгивала проволока, откушенная механическими зубцами, – из выходного отверстия прессовалки вываливался очередной тюк сена, натуго перетянутый стальной жилой. Сенная пыль висела в воздухе, набивалась в рот, в нос, першила в гортани, от неё зудело под рубахой. По бирюзовому небу плыли облака, невдалеке золочёным пламенем полыхал березовый колок, влажной испариной несло посредине дня от перегретого болота. Громадный зарод понемногу убывал, пережеванный ненасытной машиной.

К концу дня Костя дурел, переставал соображать что к чему: зачем он тут находится, кому нужна его бессмысленная, отупляющая работа. Когда наконец разделились с последним зародом, Костя готов был пешком бежать на тракт, ловить попутный грузовик. Насилу бригадир отговорил его, убедил, что разумней дожидаться золототрансовской машины. На тракте можно сутки проторчать – никто не подберёт, не так уж часто сюда ездили машины. Всю ночь Костя трясся в кузове пятитонки, загруженной теми самыми тюками сена, которые они с Чалкой прессовали ещё накануне. Было прохладно. Костя радовался уже тому, что ночь выдалась звёздная, дождя не предвиделось. Он засыпал и просыпался, вглядывался в смутные очертания сопки или стену леса, через который пробиралась машина, глядел на звёзды, холодно мигающие в чёрной синеве. Когда засыпал, ему снился скрип жерди, крутящей вал, неторопная поступь Чалки, запах конского пота, смешанный с духмяной прелью иссохшей на корню травы. Руки, держащие деревянный навильник, немели, он не в силах был пошевелить ими. Во сне напрягался, заставлял себя разорвать оцепенение – и просыпался. Знобкий, леденящий ветер забивался под телогрейку. Костя откидывал брезент и снова глядел по сторонам. Ехали через какую-то деревеньку, совершенно немую, безжизненную посреди ночи. Ни единого огонька не светилось в окнах. Стекла глянцево блистали отраженной синевой ночного неба. Лениво спросонья взлаяла разбуженная собака, товарки в соседних дворах не поддержали её, и она замолчала.

Тяжелая пятитонка, лязгая и урча, разрубала околдованное пространство, казалось, лес, куда они въехали, на время расступился, чтобы поскорее пропустить через себя железный призрак, сотворенный новым веком. В Иркутск приехали рано утром.

Занятия в старших классах начинались во вторую смену. Мать предупредила, чтобы Костя до начала уроков зашёл к директору и объяснил, почему опоздал. Её вызывали в школу, но ей сейчас не до этого – на днях она ляжет в больницу, возможно предстоит операция. Костя и без того заметил, что у матери дела плохи, выглядела она больной, как было два года назад, когда она тоже

ложилась в больницу. Мать, верно, бодрилась, старалась не подавать виду, как ей лихо, но Костя был уже не маленький – замечал.

– Ты теперь взрослый, сам поговори с директором, – сказала она, глядя на него долгим и грустным взглядом. – Пора тебе быть самостоятельным. Ты – взрослый! – с нажимом повторила она.

Костя пришёл пораньше, чтобы отбыть повинность до начала уроков. Будь в школе прежний директор Евгений Михайлович, Костя не волновался бы особенно. С Евгением Михайловичем разговаривать было легко, ему можно было откровенно сказать всё как есть: что Косте позарез нужны деньги на пальто, на обувь. Евгений Михайлович понял бы его с полуслова. Но прошлой зимой Евгения Михайловича отстранили от работы, куда он исчез, никто не знал. Если кто-нибудь из учеников спрашивал учителей о судьбе директора, те отмалчивались или же отвечали невразумительно:

– С Евгением Михайловичем разберутся.

Разобрались ли? И кто разбирался – неведомо.

Новый директор, по случайному совпадению тезка прежнего, только с другим отчеством, Евгений Петрович Большаков, ничем не напоминал своего предшественника. Был большой

говорун, излишне суетлив, постоянно носился по школе, влезал во все дыры, всех поучал, всем давал указания. Полувоенный защитный френч, синие галифе и белые бурки с высокими голенищами – таков его постоянный наряд, придававший нерослой директорской фигуре комическую важность. Истопники и уборщицы не принимали его всерьёз, все его наставления пропускали мимо ушей.

Не питали к нему почтения и школьники. Очень скоро его невзлюбили. И вовсе не потому, что он причинил кому-то вред или был чрезмерно строг. Не строг, а назойлив и докучлив. На перемене старались не попадать ему на глаза. Память на фамилии у него цепкая, – во всяком случае, всех старшеклассников он знал.

– Смирнов! – окликает директор идущего мимо семиклассника, который делает тщетную попытку прошмыгнуть незамеченным.

Смирнов останавливается, беспокойно ощупывает, застегнуты ли пуговицы на рубашке.

– Не суетись. Почему так глазами бегаешь – курил?

– Нет.

Директор приближает нос, чтобы уловить табачный запах. Но Смирнов в самом деле не курит.

– Почему верхняя пуговица расстегнута?

Смирнов торопливо застёгивает пуговицу. Он вырос из рубашки, воротник сдавливает ему горло. С директором лучше не спорить, ничего не объяснять, не доказывать, ждать, когда он выговорится.

– Нехорошо, Смирнов. Ты должен показывать пример младшим. А какой ты пример подаёшь... Ты понял?

– Понял, – торопится Смирнов, думая, что отделался.

– Повтори.

– Обязан... примером для младших.

– А выводы какие из этого?

– Пуговицы застегивать и вообще...

– Вообще, – передразнил директор. – Ничего ты не понял, Смирнов! Не понял?

– Не понял, – соглашается ученик, на сей раз выразив сущую правду.

Бессмысленный, пустопорожний разговор будет длиться до самого звонка, до окончания перемены. В школьном коридоре, где стоят директор и попавший ему на крючок ученик, образуется пустота. Даже самые примерные школьники, даже девочки избегают встречи с директором.

Прозвище ему прилепилось – Банный. Шло от поговорки «прилип, как банный лист». За глаза его иначе не называли. Даже учителя, случалось, оговаривались, называли директора не по имени-отчеству, а по кличке.

Вот с этим Банным и предстояло Косте объясняться.

В школе как раз шла пересмена, уборщицы наспех прибирались в коридорах. Сторожиха тётя Вера дежурила у входа, намереваясь запереть дверь, как только выйдут последние малыши.

– Ты куда такую рань! – преградила она дорогу Косте.

– К Банному – он вызвал, – объяснил Костя.

Тётя Вера пропустила Костю, одарив его сочувствующим взглядом. Сторожиха не хуже директора знала всех ребят, только не по фамилии, а по именам, и всем сострадала.

Директорский кабинет на первом этаже в левом крыле, рядом приёмная школьного врача, где обычно проводились медосмотры и делались разные прививки. Сейчас Костя охотней направился бы в ту дверь, принял какой угодно укол.

– Бушуев, – сразу же назвал директор, едва Костя приоткрыл дверь и заглянул.

– Здравствуйте... Евгений Петрович. – У Кости чуть было не сорвалось: «Здравствуйте, Банный».

– Никогда не заглядывай в дверь. Постучи, если разрешат – входи. А то выглядываешь из-за угла, как мышь. Что тебе?

Костя было обрадован: директор позабыл, зачем вызывал, можно соврать что-нибудь и смыться, но Банный вспомнил:

– Почему пришёл ты, а не родители?

– Мама болеет – ложится в больницу.

– Та-ак, Бушуев, – многозначительно произнёс директор. – Мама ложится на лечение, а ты воспользовался, под этим предлогом не посещаешь школу.

– Я работал на сенокосе, от «Золототранса». Меня не отпустили к первому.

– Работал? На сенокосе? Ты что же, Бушуев, считаешь, что тебе всё позволено?

Костя так не считал.

– Если ты и в дальнейшем намерен своевольничать, так тебе лучше оставить школу. Учёба не по зубам – иди работай. Прогульщиков держать не станем.

– Я хочу учиться.

Зачем-то по своим делам в кабинет завернула Лидия Панфиловна, школьный завуч, и стала ждать конца разговора.

– Хочешь учиться? – в голосе директора прозвучала ирония, – А школу не посещаешь. Какое сегодня число?

– Шестнадцатое.

– А занятия когда начались? – директор с торжествующей ухмылкой глядел на Костю.

– С первого.

Разговор топтался на одном месте. Костю всерьёз напугало намерение директора отчислить его из школы. В те годы к подобной мере могли прибегнуть. Костя понимал, что он целиком находился во власти этого человека. Лицо Банного выражало торжество, будто ему наконец-то удалось разоблачить опасного и ловкого преступника.

– С первого сентября! – повторил директор.

Костя поднял голову и встретил сухой неподвижный взгляд. Крохотные зрачки казались никелированными ядрышками в голубоватой оправе.

– А у нас сегодня?..

– Шестнадцатое.

Директор никак не мог выбраться из своих арифметических выкладок.

– Я наверстаю – выучу, – заверил Костя.

– Выучишь? – директор даже привстал со стула, словно намеревался сграбастать Костю. – С тобой учителя будут заниматься наособицу?

– По учебнику выучу.

– Выучишь по учебнику? – в голосе Банного прозвучала крайняя степень раздражения: его терпение было на исходе.

Костя понял, что ничего не добьётся, ничего не докажет: Банный не верит ни одному его слову.

Чем бы закончился для Кости этот разговор, неизвестно, если бы его не выручила Лидия Панфиловна.

– Костя Бушуев один из лучших учеников школы, – вступилась она.

– Вы всех захваливаете. – Директор подавил раздражение, натянуто улыбнулся. Лидия Панфиловна была единственной из преподавателей, которая не боялась вступать с ним в спор и, как правило, выходила победительницей.

– За прошлый год у Бушуева ни одной тройки – только хорошо и отлично.

Хотя и не совсем верно – на самом деле у Кости были две тройки по немецкому языку и по черчению, – но Лидия Панфиловна сказала это твердо, и Банный не оспорил её. Костя с благодарностью глянул на учительницу. Немного продолговатое тонкое лицо, обрамлённое прямыми прядями каштановых волос, слегка побитых сединой, прищуренные глаза с доброй, затаённой усмешкой в глубине. На мгновение их взгляды встретились, Косте почудилась улыбка, мелькнувшая на губах Лидии Панфиловны, – ободряющая улыбка.

И верно, вмешательство Лидии Панфиловны помогло. Косте разрешили идти в свой класс. Директор сделал единственное предупреждение:

– Получишь хоть одну двойку – распростишься со школой!

Костя ещё раз взглянул на Лидию Панфиловну, она ободряюще подняла руку, сжатую в кулак, – приветственный жест испанских республиканцев. Не будь с ними директора, Костя ответно отсалютовал бы ей. С Лидией Панфиловной у большинства ребят дружеские отношения.

Звонок уже прозвенел. Костя бегом взлетел на третий этаж. Коридор почти пуст, последние запоздавшие ученики прошмыгивали в классы. Впереди Кости по коридору быстрым шагом шла их классная руководительница Нина Степановна. За ней, чуть приотстав, двое учеников – мальчик и девочка. Костя настиг их у самой двери.

– Бушуев! – изумилась Нина Степановна. – Немедленно к директору.

– Я только что – он разрешил.

Все четверо почти одновременно вошли в класс. Костя, сопровождаемый возбуждённым говором, проскользнул на свою парту. Кеша Кудрявцев, приветствуя, не сильно ткнул его под ребро, о чём-то спросил шёпотом. Костя не расслышал. Он только сейчас как следует взглянул на мальчишку и девочку, пришедших вместе с ним. У него потемнело в глазах. Костя узнал их: то были очкастый Павлик и его сестра. Сердце оборвалось. Что называется, попал из огня да в полымя.

Оба – Павлик и его сестра – остались возле учительского стола и смотрели на Костю. Так ему вообразилось.

Он не сразу и понял, что сказала учительница, – смысла не понял.

– К нам пополнение – брат и сестра Павлик Зяблых и Женя Семёнова – приехали из Тулуна.

– Нина Степановна обвела взглядом ряды парт, ища свободные места. – Павлик сядет туда,

– указала она на парту, соседнюю через проход от той, за которой сидели Кеша с Костей. –

Твоим соседом будет Игорь Рукавишников, а ты, Женя, вот сюда.

Жене Семёновой досталось место на передней парте в ряду ближнем от двери. Её соседкой стала Валя Зайцева, тихонькая, ничем не примечательная девочка из числа средних учеников – без двоек, но и без пятёрок.

Павлик и Женя заняли свои места. Костя на мгновение перевёл дух. Вовсе не затем они нагрянули в школу, чтобы изобличить его. Но почему Тулун? Ведь они приходили с Горы. Не могли же они явиться на стадион из Тулуна!

Костя сидел как на иголках. На Кешины вопросы отвечал невпопад, что объясняла учительница, не слышал. Он даже головы не смел повернуть в сторону соседней парты. Стоит Павлику внимательней приглядеться, и он сразу же признает в Косте одного из рабочедомских жиганов. Краем глаза он замечал, что Павлик нет-нет да поглядывал на него.

Кеша дёрнул его за рубаху. Костя глянул на своего друга – тот кивком указал ему на учительницу.

– Бушуев! – в который уже раз назвала она его фамилию.

Теперь уже весь класс смотрел на него. Костя поднялся, сознавая себя приговорённым к казни.

– Что с тобой, Бушуев, ты стал плохо слышать?

– Нет, нормально, – пробормотал Костя.

– К следующему уроку после выходного приготовишь две первые теоремы – я тебя вызову. Для остальных будет повторением. Ты все понял, Бушуев?

– Понял, – соврал Костя.

Прежде чем сесть, отважился взглянуть на Павлика. Глаза, скрытые за стёклами очков, пристально уставились на Костю. Узнал или не узнал?

И тут только он заметил, что и все остальные с любопытством разглядывают его.

«Какой же я вахлак!» – обозвал он себя.

По обыкновению, в первый день после каникул Костя появлялся в обновке, которая вызывала всеобщее любопытство. На сей раз это был старый отцовский костюм, перелицованный и перешитый на Костю. Мать долго не прикасалась к нему, берегла.

– Подрастёшь – будет тебе обновка.

Ещё утром, примеривая костюм, он заметил, какими глазами смотрела на него мать. В её взгляде слились радость и восхищение, что сын вырос, повзрослел, и неизбывная грусть – мать вспомнила Костиного отца. По её рассказам, они познакомились совсем юными.

Костюм был непривычного вида с огромными накладными карманами, с фигурными клапанами на них. Мать перекроила его, убавила в плечах, изменила воротник, но кой-какие детали от прежнего фасона сохранились. Навряд ли ребята догадывались, что это вовсе не новая заграничная мода, а вынужденное изобретение. Никто из них не подозревал, что Костины обновки изготавливались на дому, а не были куплены в закрытом магазине, куда Костина мама будто бы вхожа на правах вдовы спеца.

Вовсе не на Костю смотрел сейчас новенький, а на пиджак.

Как это ни поразительно, но ни Павлик, ни его сестра Женя не признали в Косте одного из хулиганов, приставших к ним три месяца назад в глухой аллее стадиона «Динамо». Но угроза разоблачения нависла над Костей.

Глава третья

Заснул он в четвёртом часу, а пробудился – не было восьми. То ли в соседнем номере, то ли наверху кто-то громко разговаривал и напевал, потом на всю мощь открыл душевые краны. Теперь Константину Сергеевичу уже не уснуть. Но и подниматься не было резону. Что он станет делать такую рань в чужом городе? Он так и подумал: «в чужом городе» и сам удивился: «Это я про Иркутск!» Но ведь так оно и есть: сейчас он здесь приезжий, гостиничный постоялец, всё кругом ему незнакомо. Где-то – адресов, кроме Кешиного, он не знает – живут несколько пожилых, если не сказать старых, людей, мужчин и женщин, давно уже, как и он, ставших дедушками и бабушками, с которыми когда-то, в историческое уже время, он учился в одной школе и, встретив случайно на улице, не узнает их, как и они не узнают его. Вот, собственно, и всё, что связывает его с Иркутском. Родным он считает тот, довоенный Иркутск, живущий лишь в его памяти, а на самом деле давно иной, перестроенный и для Константина Сергеевича равный теперь любому другому городу. Москва ему лучше знакома, чем Иркутск, там он каждый год бывает, случается, и по два раза в году.

Он и не заметил, как снова, точно в сон, углубился в воспоминания...

Некоторое время для Кости оставалось загадкой, почему брат и сестра записаны в школьном журнале под разными фамилиями. Загадка мучила не только его, девочки пристали с этим вопросом к новенькой.

– Так я под маминой фамилией, а у Павлика папина.

Зачем им понадобилось в одной семье жить под разными фамилиями, выпытывать у Жени не стали. Все слышали, что бывают такие семьи. И хотя прежде в их классе подобных примеров не было, никто особенно не удивился. Вспыхнул было недолгий спор о том, кто должен менять фамилию, когда женятся, он или она. Диспут навязывали девочки, ратовавшие за равноправие. Но мальчишки только отшучивались: проблема была не жизненной.

Костю больше всего озадачивало, каким образом Павлик и Женя с малолетней сестрёнкой очутились на стадионе в пору, когда их семья жила в Тулоне. Однако и эта загадка вскоре разрешилась.

Костина мама легла в больницу надолго, ей сделали операцию, и выздоравливала она медленно. Для Кости не впервой было хозяйничать дома одному. Двумя годами раньше мать почти два месяца пробыла в больнице. Приобретенный тогда опыт пошёл ему впрок. Он знал, что на семьдесят пять рублей, которыми он располагал, можно прожить, но роскошествовать на них нельзя. Одну тридцатку он откладывал отдельно, расходуя её только на хлеб – по килограмму на день. На остальное покупал картошку, сразу на весь месяц, два кило сахара и литр конопляного масла. Немного приберегал на билеты в кино и

на баню. Только-только сводил концы с концами. Поражался, как это мать ухитрилась на эти же деньги содержать их двоих, да ещё выкраивать на покупку разных мелочей, необходимых в хозяйстве. От неё же Костя научился жарить картошку на одной воде, лишь самую толику добавляя постного масла, а по вкусу её было не отличить от жареной на чистом масле. Так что теперь он не голодал, как было, когда мать легла в больницу в первый раз. Тогда он не умел рассчитать и все деньги растратил в первые же дни.

Хорошо, что не стало очередей за хлебом – приходи и бери, когда вздумается. Но за картошкой приходилось охотиться: в овощном ларьке она не всегда была, а покупать на базаре накладно – почти втрое дороже. Ларёк был в нижнем конце улицы Дзержинского, на спуске, где она упиралась в поперечную Шалашниковскую улицу. Шалашниковской её называли прежде, нового названия Константин Сергеевич не помнит. Его мать не признавала перемен, все улицы именовала только по-старому. Так же поступали и другие иркутские старожилы. Поэтому сейчас он не может вспомнить большинство новых названий. Скажем, больница, где мать лечилась в первый раз, была на Грамматинской улице. А как эта улица зовётся по-новому, он и в детстве не знал. И мало кто знал, все говорили: «больница на Грамматинской».

Вторично мать легла в Кузнецовку. И это название осталось с прежней поры: больница строилась на средства иркутского купца Кузнецова. В официальных документах её именовали иначе, но у горожан она слыла Кузнецовкой.

По выходным Костя проводывал мать. От Гончарного переулка, где они жили, до набережной Ангары, где находилась больница, ходу полчаса. Костя подгадывал так, чтобы попасть в число первых посетителей, тогда у него выкраивалась свободной вся вторая половина дня. Мать тоже привыкла и ждала его утром. На худом, осунувшемся лице её глаза светились воспалённо и жадно ловили Костин взгляд. Улыбка давалась ей тяжело, болезненно. Её приятельницей стала соседка по больничной койке Любаша, особа неопределённого возраста, худощавая, костлявая, с ярко напояженным ртом и постоянно торчащей в нём папиросой. Из-за пристрастия к куреву она почти весь день проводила в коридоре, неприкаянно слоняясь между лестничной площадкой и закутком, где располагалась столовая и был запасной выход. Завидев Костю, она кидалась к двери в палату, громогласно объявляла:

– Вика, твой прискакал!

После этого поспешно выбегала навстречу Косте. Она так радовалась его приходу, будто он приходил проводить её. Озаряла его улыбкой, расспрашивала, как он провёл минувшую шестидневку. И так всякий раз, несмотря на то, что Костя не был с нею приветлив, на вопросы отвечал скупой. Она довольна была и этим, поскольку сама тараторила за двоих и не замечала Костиной замкнутости.

Входя в палату, Костя испытывал чувство беспричинной виновности, делался скован и неловок.

– Здравствуйте, – безадресно произносил он изменившимся, несвойственным ему голосом и торопился к койке, где лежала мать.

Окнами палата обращена на реку, солнце в этот час в неё не заглядывало, но лился некий голубоватый свет, рожденный надангарским простором.

Мать приподнималась, чтобы ей лучше видеть Костю. Любаша подкладывала ей под голову свою подушку, любезно указывала гостю место, где ему сесть – на её кровать, и спешила обратно в коридор.

– Не буду вам мешать – говорите всласть.

Разговора всласть у них не получалось, из четверти часа, отведённых на свидание, они половину проводили в молчании. Мать неотрывно, жадно глядела на него, будто хотела насмотреться на все предстоящие дни до следующего выходного. На бледных губах появлялась блёкая улыбка. Мать считала себя виноватой в том, что оставила его одного, что вынуждает его ходить к ней через весь город. Единственное, о чём она расспрашивала пристрастно, так это о том, что он ест, не кончилась ли у него картошка, остались ли деньги

на хлеб. Про то, как он учится, не интересовалась: доверяла сыну, знала, что не подведёт, что ей не придётся краснеть за него на родительском собрании. Учился Костя всегда сносно. Бельё и Костины рубашки стирала соседка, баба Нина. Ещё в прошлый раз, когда мать впервые попала в больницу, она сама, затеяв стирку, пришла к Косте, забрала у него грязное бельё.

– Мне заодно – руки не отвалятся.

Про соседей мать тоже расспрашивала заинтересованно, скудные Костины новости её не удовлетворяли, ей хотелось знать больше. Вопреки распространённому мнению о неуживчивости жильцов коммунальных квартир, семьи на нижнем этаже были дружны, если требовалось, выручали друг друга. В том, что Костя не мог удовлетворить материного любопытства, мало был осведомлён о бедах и радостях людей, живущих в соседстве с ними, был повинен он, вернее, свойственная ему в том возрасте необщительность и замкнутость. Как обычно, мать первая спохватывалась:

– Ну, ты иди, Костик, пора.

С полминуты ещё он сидел, соблюдая приличие, потом поднимался.

– Я пошёл, мам. Выздоровливай.

Мать силилась не заплакать. Губы у неё дрожали, глаза заволакивало слезами. У двери он на миг задерживался, с нарочитой бодростью вскидывал руку, успевал поймать ответную материнскую улыбку сквозь слёзы и выскакивал в коридор.

Здесь его поджидала Любаша. Завидев Костю, швыряла папиросный окурочок в плевательницу.

– Не расстраивайся, Костик. С полмесяца ещё помаринуют Вику Анатольевну и выпишут. Не век же нас будут здесь держать – кому мы нужны. Ничего у неё страшного – беда это наша бабья, не на кого и жаловаться.

Вот этими своими наговорами-утешениями она более всего раздражала Костю. Да ещё запахом табачного перегара. От неё он впервые и услышал, что у матери какая-то особая женская болезнь. Раньше он не задавался вопросом, что с матерью. Мало ли болезней, с которыми пожилые люди попадают на операционные столы. Мать он относил к числу пожилых – в прошлом году ей перевалило за сорок. Сорок лет – бабий век, кто этого не слышал, ему странно было, когда Любаша говорила:

– Молодая она – быстро оклемается. Ей ещё жить да жить.

Сколько же лет самой Любаше? Иногда она казалась ровесницей Костиной матери, а в другой раз, особенно со стороны, не видя её намалёванного лица и папиросы, торчащей изо рта, можно подумать – вдвое моложе.

Костя сделал открытие: кто-то, помимо него, навещал мать в больнице. Раньше он лишь предполагал это, а теперь был уверен. Ещё в прошлый раз, когда она лечилась в больнице на Граматинской, у него закралось подозрение, откуда у неё брались разные деликатесы – куриная ножка, дорогая рыба, яблоко, чернослив, урюк, – которые она отдавала ему. Тогда он решил, что её подкармливали сослуживцы по работе: так заведено – носить в больницу что-нибудь вкусное. На сей раз он знал, что сослуживцы ни при чём. Мать хотела скрыть от него правду, и Любаше тоже наказала держать язык за зубами, но та проговорила. Да ещё так неловко пыталась исправить свою обмолвку, чем и выдала окончательно.

Услышь про это двумя годами раньше, Костя, пожалуй, не простил бы матери подобной измены покойному отцу, но теперь он был старше и хоть многого ещё не понимал, но и не судил уже с прежней категоричностью о вещах, где у него не было опыта.

На тумбочке возле больничной кровати всегда лежало что-нибудь съестное, чаще всего всё та же неизменная куриная ножка, завернутая в бумагу. Перед тем как проститься, мать совала этот гостинец Косте в карман. Прежде, два года тому назад, он брал, хоть стыдился и досадовал на себя – не хватало мужества отказаться, слишком велик был соблазн. Теперь Костя был решителен.

– Тебе самой надо есть!

Мать не настаивала, особенно с тех пор, как по Костиному лицу догадалась, что ему известно, откуда у неё берутся продукты, не значащиеся в больничном рационе.

Любаша провожала его до лестничной площадки, заверяя, что Вике Анатольевне стало лучше, и, простившись с Костей, торопилась назад, должно быть, затем, чтобы известить Костину маму, что с её сыном всё в порядке, он благополучно миновал больничный коридор. Оглянувшись, Костя видел нескладную фигуру Любашы в запахнутом вокруг тощего тела халате – передвигалась она как-то по птичьи, с подпрыжкой, одним боком вперёд.

На площадке, прислонясь к перилам и обхватив руками собственное чрево, неизменно дежурил тихонький белобрысый мужичонка – поджидал своих родственников. С проходящими мимо он здоровался и каждому улыбался. Костя прошёл мимо, ответил на его приветствие и улыбку и сбежал с лестничного марша.

– Костя! – раздался сверху звонкий девчоночий оклик.

С третьего этажа спускалась Женя Семёнова, новенькая из их класса. В первый миг Костя не узнал её: очень неожиданной для него была эта встреча. На Жене так же внакидку трепыхался белый халат. Они хоть и знали друг друга, но, можно сказать, не были ещё знакомы, даже и не разговаривали ни разу, а тут Женя радостно улыбнулась ему, как будто они давно учатся в одном классе. Ненадолго она задержалась возле белобрысого, который, по-прежнему не отнимая рук от живота, радостно улыбался Жене, о чем-то они перемолвились несколькими словами. Костя не стал ждать.

Женя настигла его у гардероба, когда он получал одежду.

– Пошто такой кислый? Мама твоя поправляется?

«Вот тебе раз, ей и это известно», – удивился Костя.

– Не расстраивайся, Костя. У неё была тяжёлая операция, но теперь кризис миновал.

Этими словами она доконала Костю. Он пристально взглянул на неё: обыкновенное существо – семиклассница, ещё с остатками подростковой нескладности, но далеко уже не девочка. Глаза быстрые, приметливые и весёлые, жизнерадостные от природы, цвет васильковый, но с мягкой прозеленью.

– Откуда ты знаешь?

– Так моя мама в терапии лежит, я каждый день прихожу.

– Каждый день! Но в будни пускают с четырёх до шести – как раз уроки.

Уж тут-то она явно заливает: если бы она отпрашивалась или сбежала с последних уроков, он бы знал.

– Я утром прихожу – меня пускают, – развеяла Женя его недоумение.

Конечно, пускают. Её способность с первой же встречи сходить с людьми, становиться поверенной чужих тайн непостижима. И ещё она обладала ненасытной жадой встречать на защиту обиженных, если видела несправедливость. Новая химичка, недавно пришедшая в их школу, не пользовалась у старшеклассников авторитетом. На её уроках позволено было всё. Сколько раз она не выдерживала, в слезах убегала из класса. Когда это случилось впервые, все притихли: думали, побежала жаловаться к директору, но химичка вышла в коридор, чтобы там не на виду выплакаться, уткнувшись лицом в подоконник. Издёвки над безобидной учительницей прекратились после того, как за неё вступилась Женя Семёнова.

– Как вам не совестно! – накинулась она на парней. – У Валентины Ивановны мама разбита параличом, второй год лежит без движения. Она на большой перемене всегда бежит к маме – за больной нужно присматривать. А вы...

Не столько даже эти сведения, неизвестно какими путями добытые Женей, повлияли на озорников, сколько их пристыдила горячность, с какой девочка вступилась за обиженную учительницу. Издёвки над химичкой прекратились, дисциплина на её уроках стала терпимой.

Зная всё это, Костя поверил – Женя сказала правду, ей разрешают свидания с её мамой в неурочный час: Женя уговорит кого угодно и своего добьётся.

Домой шли вместе. Ходок он был и тогда отменный, сразу взял темн, думал, Женя отстанет. Но единственное, чего он достиг, – принудил её молчать. Разговаривать на такой скорости Женя не могла. Они уже подошли к рынку, когда она не выдержала:

– Куда бежишь? Сегодня выходной, в школу не нужно.

– Я не бегу – иду нормально, – прихвастнул он и покраснел: нашёл чем бахвалиться.

– Пойдём потише, – попросила она.

Целый квартал шли молча, Женя не сразу отдышалась. Зато потом её прорвало. Всё-то она выложила: мама и папа у неё работают на железной дороге, папа редкий специалист, им дорожат, мама – бухгалтерша. Вспомнила про свою прежнюю школу, про закадычных подружек.

– Нас мальчишки не трогали – боялись: мы друг за дружку стеной.

– Представляю себе вашу царапучую стенку, – фыркнул Костя.

– Вот уж напрасно, – возмутилась Женя. – Сроду не царапалась.

На Жене было лёгкое, изрядно уже поношенное пальтишко, из которого она выросла. Запястья рук вместе с ситцевыми рукавичками обнажались из-под суконного рукава, полы не прикрывали острых девчоночьих коленок в коричневых чулках. Костя косился на её быстрое, подвижное лицо. Встречая её лукавый взгляд, мгновенно отводил глаза. Эту ли девочку видел он летом в черемуховой аллее? Не обознался ли. Не могли они с Павликом быть на стадионе в Иркутске, если жили в Тулуне.

– Летом вы к родственникам приезжали, когда на стадион приходили?

– Нету у нас никаких родственников здесь.

Костя перевёл дух. Выходит, он ошибся, принял Женю за другую девочку. А то он уже готов был с досады язык прикусить себе: надо же было так неосторожно брякнуть про стадион.

– Нет у нас родственников в Иркутске, – повторила Женя. – Папа брал отпуск на пять дней, мы приезжали смотреть квартиру, какую ему обещали, если он переведётся из Тулуна. Мы не хотели ехать, но папа уговорил, привёз в Иркутск. Нам понравилось. Особенно то, что стадион близко. В Тулуне такого стадиона нет.

Всё-таки она и есть та самая девочка. Костю она по-прежнему не узнала. Видимо, встреча с рабочедомскими хулиганами не очень-то и напугала их, даже впечатления от стадиона не омрачила.

Продолжать разговор на эту тему было опасно. Костя и без того почти выдал себя: если Женя задастся вопросом, откуда ему известно, что они были на стадионе, она всё вспомнит. Внимательный взгляд скользнул по Костиному лицу, на мгновение задержался, загадочная улыбка пробежала по Жениным губам. Костя обмер. Всё, сейчас она произнесёт приговор: «Как же это я сразу не узнала тебя. Ну-и подлец же ты, Костя!»

Но вместо этих слов он услышал:

– Девочки говорят, ты диктанты совсем без ошибок пишешь. Как профессор.

– Наших девочек только слушать.

Костя не сильно и обрадовался, что разоблачение не состоялось. Сколько можно терзаться. Одним бы махом и разрубить. Костю подмывало признаться, нужные слова уже готовы были сорваться. Но помешала Женя.

– Не знаешь, который тут дом Волконского? – спросила она. Они как раз шли по кривому Волконскому переулку.

– Этот Волконского, а тот – Трубецкого, – показал он.

Позднее Костя узнал, что дом Трубецкого был совсем не тот, на который он указал. Но он вовсе не умышленно обманул – сам так считал. Он и не помнит, кто ввёл его в заблуждение. Мемориальных досок на домах декабристов тогда не было.

Наверное, на совести всякого человека есть пятна, которые время бессильно смыть. Позднее, в его взрослой жизни, были и другие поступки, которых он стыдится, но почему-то ему чаще вспоминается постыдный эпизод из подростковой поры. Хотя, казалось бы, что уж там такого особенного случилось? К тому же он имеет право сказать, что после другими делами не однажды загладил свою вину перед Женей и Олей – её младшей сестрёнкой,

проявленную минутную трусость. Пожалуй, кто-то другой, со стороны, так только подивился бы над тем, что мучает этого пожилого человека, прошедшего войну, отмеченного наградами... И ведь воевал он по-настоящему, был всё время на передовой, исключая только недели и месяцы, проведённые в госпиталях, – в общей сложности немалое время, как-никак пять ранений, из них три тяжёлые. Каждый раз из госпиталя он снова попадал на фронт – на передовую. Одним словом, воевал, не прятался. И в послевоенной жизни тоже ни разу не сплеховал. А моменты были, когда мог спастись, уклониться от риска, тем более в последние годы, когда уже и возраст и занимаемая должность давали ему право не лезть самому в пекло – на опасные участки посылать кого помоложе. Собственно, хороший руководитель так и должен поступать, но Константин Сергеевич никогда не причислял себя к образцовым руководителям. Всё норовил сделать сам, особенно там, где была опасность, был риск.

Вскоре после выходного, когда они с Женей встретились в больнице, Костя совершил поступок, который вполне можно назвать благородным, рыцарским – вступился за слабого. А поскольку слабым был не кто иной, как Павлик Зяблых, получалось, что Костя загладил свою провинность. Но это мог сказать кто-то другой, посторонний, сам он даже и тогда так не думал.

Глава четвёртая

Из воспоминаний своего прошлого Константина Сергеевича оторвала мысль о близком настоящем, о том, что его тревожило сейчас. В нынешнем году уже его внучке Вике, названной в память её прабабушки, исполнилось двадцать лет – на много больше, чем было тогда Жене. Совсем уж взрослая девица. С внучкой у него трудные отношения, болезненные для него. Во многом он сам повинен, во многом её родители, сын и невестка Константина Сергеевича, воспитавшие Вику такой, какая она есть. А в чём-то и само время повлияло, точнее, перемены, происшедшие в укладе, в отношениях между супругами, в женской эмансипации – одним словом, во всём. Ведь если бы в самом деле возможно было, как это допускают фантасты, совершать путешествия во времени и любого из живших в предвоенные, тридцатые годы, или из сорок пятого, победного года, перенести в сегодняшний день, так он ходил бы по белу свету, не закрывая рта, всему удивлялся, точно попал на другую планету. Насколько сам он помнит своё представление о благополучии, каким оно рисовалось ему сорок лет назад, так нынешняя жизнь показалась бы ему не просто хорошей, а роскошной, даже до излишества. Тогда считали: было бы хлеба досыта, без остального можно обойтись. Из одежды достаточно одного приличного костюма на три-четыре года. В будни не обязательно щеголять – довольно посконных штанов и рубахи. Ну а уж о квартирах, в каких теперь живёт большинство, даже и не мечтали. Он искренне был убеждён, что у них с матерью с жильём обстоит благополучно: хоть и крохотная, но отдельная комнатёшка, кухня общая всего лишь на три семьи. Многие и этого не имели.

– Ты, деда, совсем замшелый, – рассмеялась внучка, когда он вздумал разглагольствовать на эту тему, корить молодых, что не ценят то, что имеют, что им досталось задарма. – Живёшь допотопными представлениями. Скажешь ещё, что нас пороть надо кнутом по домострою. – Этого не говорил, – открестился он, а про себя подумал: «Тебя-то бы, милочка, не мешало попотчевать по заду, обтянутому модными джинсами. Кнут тебе был бы на пользу».

С внучкой и с внуком Димкой, шестнадцатилетним Викиным братом, отношения складывались туго. Отчасти он сам виноват: по сути дела внуки не знают его, бывает он у них наездами по осени. Считается – приезжает из своей Сибири отведаться на фруктах. Хотя, конечно, не фрукты его манят, не разорился бы при его-то зарплате их покупать на рынке в тридорога. В последние годы особенно стало его тянуть в семью сына. Скучает по внукам, хоть и не берёт его мир с ними: чуть что – ссорятся. Единим дружным фронтом выступают они против деда. Стоит ему затеять разговор с Димкой, Вика вступится за брата,

а вспыхнет ссора с внучкой, Димка тут как тут встрянет в их ссору. Хотя во всем остальном они не шибко и ладят между собой.

Внучку он считает повинной в смерти своей жены, её бабки. Тут у него давний бзик, он уверен: если бы не маленькая Вика, так Наташа до сих пор была бы жива. Конечно, Вика не в буквальном смысле виновна, не уморила, не довела свою бабушку до могилы, да и не могла сделать этого, ей в ту пору было всего полгода от роду.

Своего сына Бориса они с женой, можно сказать, не растили и не воспитывали, заботу о нём почти с самого рождения перепоручили родителям жены. Костина мать к этому времени была уже немощна. Считалось, что им недосуг исполнять родительские обязанности – работа в экспедициях поглощала всё без остатка. А тесть с тётшей даже рады были такому обороту. Боря у них ходил в любимчиках, заласканный и занеженный. Наташа, Костина жена, в шутку корила их, что её они вполнину не холили, как внука.

– Время другое, – оправдывались те.

Время и впрямь настало другое. Перемены шли исподволь, незаметно. Константин Сергеевич нет-нет да и высказывал опасения, что дед с бабушкой чересчур уж балуют Борьку, растят барчука-белоручку, ни в чём ему нет отказа – хорошего от этого не жди.

– А что же ты хочешь, чтобы и он рос впроголодь, как ты? Лето и зиму ходил в одних заплатанных штанах?

Этого он не хотел, поэтому ни с женой, ни с тётшей не спорил, мирился с тем, что было, полагаясь, что бездельником и себялюбом сын не вырастет, скажутся гены поколений тружеников. Может быть, гены и сказались, злодеем Борис не стал, получился в меру ленивым, невнимательным к родителям, заодно и к бабушке с дедом, холившим его, а главное, несамостоятельным. Одним словом, в полном соответствии со стандартом феномена общего для страны, получившего наименование – инфантильность. Обыкновенный полуакселерат – всего на полголовы выше отца, – затронутый плесенью всеобщей инфантильности. До обидного средний – середнячок, не утоливший тщеславных упований Константина Сергеевича. Ему хотелось видеть своего сына не среди общей бесцветной массы, а человеком приметным, что-то значащим, которым родители могли бы гордиться.

В давнем споре между сторонниками главенства врожденных способностей, передаваемых по наследству, с приверженцами другого взгляда, что человека формирует воспитание и условия жизни, среды, приходилось признать правоту последних, хотя Константину Сергеевичу претила эта позиция – он голосовал за наследственность. Однако подобные споры голосованием не решаются.

И в геологию по стопам родителей Борис не пошёл, хоть и устроили его – запихали на нужный факультет. Константин Сергеевич скрепя сердце уступил тестю с тётшей, жене и двум Борькиным тёткам, употребил все свои знакомства, помог сыну поступить в институт. Но, проучившись два года, изведав практику, какая полагалась после второго курса, Борис заявил, что ни за какие коврижки не станет полевиком.

– Не ишаком родился – таскаться по горам. Эти же деньги можно заработать в городе, не наживая радикулита и язвы.

Константин Сергеевич не спорил, не убеждал, сказал только жене:

– Получай плоды воспитания бабки с дедом.

– А что, не правду он говорит?

Константин Сергеевич и сам знал, насчёт заработков Борька прав: деньги, какие они с женой получают, мотаясь по экспедициям, можно заработать, живя в городе, без хлопот, и натуги, ещё и отращивая животик. Но он то совсем не это подразумевал.

И как раз той осенью Борис свёлся с проезжей туристкой, девицей из южных краёв, из курортного городишка Лазоревское, и она ему приглянулась. А скорее всего, туристка заарканила Борьку и сманила на юг. Бросил институт и укатил. И вскоре доказал отцу, что деньги, какие тот зарабатывает на Крайнем Севере, с успехом можно получать, живя на крайнем юге. Борькин тесть, имеющий связи, пристроил своего зятя на должность при курортном управлении, не тяжкую – если уж даже Борька справлялся с работой, – но

прибыльную. Одним словом, глядя со своей колокольни, Борис в два счёта заткнул отца за пояс. Впрочем, насколько велики были его заработки, Константин Сергеевич не знал, серьёзного разговора на эту тему не получалось. Борис больше отшучивался. Может быть, безбедную жизнь молодой семьи обеспечивала вовсе не Борькина зарплата, а дом и сад, доставшиеся в приданое невестке. Считая веранду и летнюю дощатую постройку в глубине сада, которые в сезон сдавались курортникам вкуче с двумя комнатами – хозяева в эти месяцы обитали в кухне и на чердаке, – доход они получали не малый. Фактически торговали природой Черноморского побережья, ради которой массами и ехали туда люди, истосковавшиеся по теплу, по морскому купанию, жаждущие безмятежного оздоровительного отдыха, готовые ютиться чёрт знает где, лишь бы рядом с морем. Фактически местные наживались не за счёт своего труда, а за счёт благодатной природы, которая досталась им ни за понюшку табаку.

— Вот погодите, – в шутку страшил Константин Сергеевич сына с невесткой, – надоест людям валять дурака, платить шальные деньги за то, чтобы в тесноте жариться на солнце и хлюпаться в солёной воде возле бережка, заскучают они по воле, по простору, и хлынут отдыхающие в обратную сторону – к нам в Сибирь. Тогда сибиряки начнут драть с вас втридорога за место в какой-нибудь курной зимовьюшке.

В ответ Борька хохотал, хлопая себя по дородному барскому брюшку. Оно у него обозначилось уже к тридцати годам.

Верно, отцовской помощью Борис не пренебрегал. Пятнадцать лет назад приобрести машину было ещё не так просто – упросил отца: ему через экспедицию было легче. Деньги за неё целиком пошли из отцовского кармана. Единственное, что сделал сын, избавил отца от хлопот с перевозкой автомобиля. Как только получил известие – есть машина, немедленно прилетел и в два счёта обделал все дела, связанные с отправкой. Благодарно расцеловал отца и укатил обратно, даже не побывав в старом доме, где провёл детство, не повидав своих школьных приятелей.

Произошло это уже вскоре после смерти Наташи. Если бы не Вика, жить бы ей до сих пор. В этом Константин Сергеевич убеждён.

В начале лета – они только выехали на полевые работы – от молодых, Бориса и невестки, пришло письмо, слёзное, просительное: не сможет ли бабушка приехать к ним понянить внуку, невестке недосуг. Наташа собралась и укатила, сколько он ни пытался отговорить её повременить до осени, когда закончится полевой сезон и они смогут отправиться вдвоем. Ничего с невесткой не сделается, ей только на пользу пойдёт.

– Ты помешался на своей работе! – укорила жена. – Из-за неё я сына на руках не держала, а теперь и внуку не понянчу.

Больше он не отговаривал, признал Наташину правоту. Единственно предупредил:

– Будь осторожна: тебе при твоём давлении и с твоим сердечком отсюда сразу в пекло...

– Люди туда лечиться едут, – возмутилась жена. – По-твоему, у нас здесь курорт!

Вскоре получил от неё восторженное письмо. В подробностях расписывала, какая у них славненькая и смышлёная внучка, какие у неё чудные глазки, ротик, как она премило сучит ножками – ликует, завидев бабушку... «Вот помяни моё слово, красавица вырастет!»

Он посмеялся над восторженностью жены, но и порадовался: вовсе он не против был, чтобы внучка у них выросла красавицей. Но больше всего ему хотелось внука, а невестка заверила Наташу, что появится непременно и внук, но лишь в том случае, если будет кому водиться с ним. Константин Сергеевич окончательно смирился.

А вскоре после письма – пожалуй, и месяца не прошло – по рации ему в экспедицию передали срочную телеграмму: «Вылетай Лазоревское мама скончалась сердечной недостаточности».

Хоть он ни в грош не ставил современную медицину, особенно их диагнозы, на этот раз поверил – жену сгубила сердечная недостаточность. Да и как могло этого не случиться, если она почти всю жизнь безвыездно провела на севере, зимой только неподолгу бывая на юге, да и то если Читу считать южным городом. А тут на тебе – без пересадки, в самое пекло, в

июль. Да ещё все заботы свалились на неё. Непривычные заботы, своего-то сына не пришлось нянчить, опыта не было. Чуть что стряслось с малюткой, хваталась за голову, за пузырьёк с валерьянкой, за пилюли от повышенного давления. А сердечко у неё и раньше пошаливало.

Внучка Вика и впрямь выросла статной, красивой. Только какая-то непоседливая, суматошная, вертлявая. В восемнадцать побывала замужем и, как водится, неудачно, ненадолго, для первой пробы. Повадки у неё развязные, как у большинства, смала выросших в мужицкой одежде, в брюках, не приученных к аккуратности, к домашнему труду, на всём готовом. Избалована, капризна. И при её-то красоте ещё малюется. Сигарету изо рта не выпускает. Попытался внушить ей, что негоже так, не красит это девушку, а безобразит. В ответ похохатывает, даже и спорить с ним не удосужилась. Он плюнул с досады. И вот тут она взорвалась:

– Что это вам все не нравится? Капризы свои выставляете старомодные!

Вот тебе раз, с больной головы на здоровую. Это он-то выставляет капризы?

На вы она обращалась к нему, только когда ссорились. А было время – Вика только пошла в школу – писала ему нежные письма, называла «милым дедушкой». До слёз трогали слова, выведенные корявым детским почерком.

– Это вы все малёванные, капризные, нервные, – не удержался он. – Дерганое поколение! В кого только, непонятно.

– Вот уж верно: в кого? Вы же у нас сентиментальное поколение, плаксивое, – съязвила внучка.

Незадолго до этого был у них разговор, она его поддела, что все они, старики, как пустятся в воспоминания о войне, так сразу и в слёзы.

– Один смех на вас глядеть.

Тогда он смолчал, не выказал обиды, а теперь вспылil, раскричался, разнервничался, только что не расплакался. В тот же день пошёл в билетную кассу, кое-как добился, обменял билет на завтра – на десять дней раньше намеченного срока. Сыну объяснил, будто бы был на переговорах и его вызвали в управление по работе.

Но Вика поняла. Только ни словом, ни намёком не подала виду. Раскапризничался, как младенец, так и катись в свою хваленую Сибирь. Под старость будешь замерзать – приедешь к нам, отогреться. Так он расшифровывал безразличные слова и улыбки, какими, прощаясь на перроне, обменивался с внучкой. До последнего свистка электровоза, до вагонного толчка, с которым тронулся поезд, напрасно ждал, надеялся, что Вика выкажет раскаяние, попросит прощения. Всё бы он простил. Но не дождался, так и уехал, затаив обиду на сердце.

Лучше об этом не думать, не растравлять себя. Насильно увёл мысли в то далекое, довоенное прошлое, когда он не был ещё сентиментальным и, как положено будущему мужчине, сдерживал слёзы, если случалось невмоготу, старался казаться черствее и закалённей, чем был на самом деле.

Что же там происходило после?.. Ах, да, вспомнил он, драка с Вовкой Уртаем. Уртай кличка. Фамилия у Вовки украинская не то Федчук, не то Федорчук, точно он не помнит. Прозвища надежней фамилий держатся в памяти. Своё Вовка привёз из Забайкалья, где семья жила раньше. Его и дома, родители и братья, звали Уртаем. Костя не знал, что означало слово. Да, пожалуй, и никто из ребят не знал. Уртай да Уртай. Позднее уже, бывая в забайкальских деревнях, Константин Сергеевич услышал это слово и выяснил, что оно означает – зверюга, свирепый, беспощадный хищник.

Может быть, вовсе не столь отъявленным злодеем был Вовка Уртай, каким он остался в памяти. Ведь была же у него мать, любившая его. И компания, которая вилась вокруг него, признавала его своим коноводом и гордилась им.

Костя не дружил с ним, знал его только со стороны. А второгодниками часто становились не по своей вине. Но если уж кого записали в хулиганы и неуспевающие, так вроде как клеймом пометили. После попробуй смой.

Эти мысли, запоздало обеливающие Уртая, пришли Константину Сергеевичу теперь, взрослому, а в ту пору он искренне был убежден, что Вовка принадлежал к особой породе людей никчёмных и злых от природы.

Поуспокоился Костя, перестал поминутно ждать разоблачения. Видимо, ни Павлик, ни Женя попросту не разглядели тогда своих обидчиков. Для Павлика и Жени эпизод проскользнул мимоходом, даже и впечатления от стадиона не омрачил. А стадион в самом деле был отличный, особенно по тем временам. И роща вокруг него, и уютные аллеи, и стометровый бассейн, и пруд...

С Павликом у Кости начала даже завязываться дружба. Первые шаги к сближению сделал Павлик. По математике Костя всегда был в числе успевающих, давалась она ему. В классе еще трое-четверо состязались с ним на равных. Соперничество повелось с пятого класса. Математичка, давая уроки на дом, для них сверх общего задания подыскивала задачку позамысловатей. Большинство ребят на сложные задачи не посягали, даже не записывали условий. Костя других уроков не сделает, а над трудной задачей будет биться, пока не решит. Но и главные его соперники чаще всего тоже справлялись. А когда в классе выполняли контрольную работу, между ними шло состязание – кто первый разделается с примерами, раньше положит свою тетрадку на учительский стол. Они так с пятого класса и выделились, и никто больше не прибавлялся к ним. И вот с появлением Павлика Зяблых в их полку прибыло. Трудные примеры, какие для них приискивала математичка, решал и он. Более того, Павлик даже несколько поохладил спортивное рвение: он не считал свою способность чем-то особенным, не гнался за тем, чтобы непременно быть первым. Он успевал и по другим предметам, а на уроках истории и литературы так просто поражал своими знаниями одноклассников. Последнее, правда, не принесло ему пользы, напротив он нажил опасного врага. Директор, который вёл у них историю, то и дело осаживал Павлика, требуя, чтобы тот отвечал урок по учебнику, а не выискивал сомнительные источники. Павлик не унимался и, случалось, подлавливал директора на неточностях, а то и незнании.

Наметившуюся дружбу с Павликом закрепил один случай. В обычай вошло на переменах устраивать бои с пацанами из параллельного класса. Затевали перестрелку из рогаток, изготовленных из тонкой резины. Пульками служили бумажные катыши. Снаряд пролетал несколько метров и бил больно даже через рубашку. Бои шли с переменным успехом и прекращались по окончании перемены, с тем чтобы возобновиться на следующей. Уртай учился в соседнем классе и был у них за коновода. Его многие побаивались. Он был хамоват и настырен, чуть что не по нём, пускал в ход кулаки. С ним старались не связываться и ребята из старших классов. Да Вовке Уртаю самому полагалось быть уже в числе выпускников. Он, начиная с пятого, в каждом классе сидел по два года – был штатным второгодником. Он вошёл в тот возраст, когда парни начинают обращать внимание на девочек. У него это проявлялось своеобразно. Походя Уртай мог шлёпнуть любую девочку по задку и после по-жеребьячи загоготать. На школьном вечере он зачастую появлялся под хмельком – выпивал для храбрости. Обыкновенно устраивался в коридоре на подоконнике, подстерегал девочек, чтобы потискать их. Но про его повадки знали все, и мимо Уртая отваживались проходить лишь те из девочек, кому такое ухаживание не претило. Учителя воспринимали Вовку Уртая как неизбежное и неотвратимое зло, подобное стихийному бедствию.

Играя в войну, семиклассники, как правило, не трогали девочек. Те свободно прошмыгивали между враждующими армиями.

Уртай в сражениях не участвовал. Не трогали и его, зная, что Вовка в любой момент способен пустить в ход кулаки. Он безучастно сидел на подоконнике и только подавал советы своим одноклассникам.

И вот в этот день с Вовкой Уртаем вступил в драку не кто-нибудь, а самый хилак Павлик Зяблых. Началось так. Женя, как было принято у девочек, пригнувшись, собралась пробежать мимо двух враждующих армий. Уртай, когда она проскользнула мимо него, шлёпнул её по задку. Женя обернулась к нему точно на пружинах. Глаза вспыхнули.

– Негодяй!

– Видали недотрогу, – хмыкнул Уртай и бросил ей такое непечатное словцо, что все ребята покраснели.

Действие, какое произвела матерщина на Женю, поразило всех. Никто этого не ожидал. Внезапные рыдания начали бить её так, что это больше походило на истерику, чем на обычный девчоночий плач. Уртай растерялся.

– Ты чо! Я тебе чо? – бормотал он испуганно.

Павлик очутился рядом, со всей силы растянул резинку, целя Уртаю в щёку. Все это видели, но никому не пришло в голову вмешаться, даже Вовкины одноклассники не вступились за своего атамана. Щелчок получился хлестким и звучным. Уртай подпрыгнул и обернулся. Павлик был на голову ниже Уртая. Его глаза сверкали отчаянной решимостью. На мгновение Вовка оторопел.

– Скотина! Бандит! – выпалил Павлик ему в лицо.

В следующее мгновение Уртай всей тушей обрушился на соперника, подмял его и повалил на пол. Несдобровать бы Павлику, но Костя, Кеша Кудрявцев и ещё кто-то из ребят растащили драчунов.

– Ты бы ещё кого поменьше выбрал! – в злобе процедил Костя.

– А, ты чо? Могу и тебе!

И ясно было, что не пустые слова, начнись сейчас драка, несдобровать и Косте: гнев Уртая, ещё не перегоревший, удваивал его силы.

– Если так охота, сшибёмся после уроков, – осадил его Костя.

Предложение вызвало презрительную ухмылку.

– Охота, – заявил тот. – Навтыкаю после уроков, если не сдрейфишь.

На этом и разошлись. Как раз звонок прозвенел.

Женя проплакала весь урок, никак не могла остановиться. Только начнёт успокаиваться, как рыдания с новой силой сотрясают её, заставляя падать ничком на парту.

– Что с тобой, Семёнова? Что с ней? – ко всему классу обратилась учительница.

– Её Уртай ударил – второгодник из седьмого «В», – пояснили девочки.

– Она не поэтому плачет, что больно, – вмешался Павлик, – она какую хочешь боль вытерпит

– её словами можно убить.

Наконец учительница догадалась:

– Семёнова, сходите умойтесь. Если не успокоитесь, пройдите к врачу – Вера Александровна сейчас у себя.

Соседка по парте Валя Зайцева вызвалась проводить Женю. До конца урока они не возвращались.

На очередной перемене война между классами не возобновилась. Уртай и Костя издали посматривали друг на друга. Костя сознавал – драка будет не легкой. Вот когда он пожалел, что в прошлом году отказался ходить в секцию бокса при динамовском клубе – глядишь, кое-что уже бы освоил. Уртай тоже не боксёр, но он крупнее Кости и, наверное, сильнее. Не столько превзошёл Костю ростом, сколько остальными габаритами: был широк и громоздок в кости. Выглядел нескладным, зато крепким. Он не однажды похвалялся, будто нос у него нечувствителен к ударам, раскровенить его никому не удавалось. Костин нос, напротив, хлипкий: чуть по нему смазали – потекла краска. А попробуй убереги нос, если не умеешь защищаться и уклоняться, стараешься, как бы самому достать соперника кулаком.

После шестого урока мальчишки из обоих классов собрались почти в полном составе. Обыкновенно кулачные поединки один на один устраивались при свидетелях, но редко когда при таком скопище. Место выбрали позади школы, куда учителя и директор заглядывают редко.

Места для поединка было достаточно. Незадолго перед этим выпавший снег неплотным слоем одел землю. Он был утоптан и приморожен, наполовину заледенел. Это давало преимущество Уртаю: он обут в валенки, они не скользят. Костя был в ботинках. Хорошо не

на кожаной подошве, но всё равно скользко. Зато Косте легче. Валенки делали Уртай неповоротливым, а он и без того медлителен.

Мальчишки выстроились вкруг, оба класса перемещались. Двое секундантов ощупали карманы, проверили, не зажато ли в кулаке какого-нибудь предмета, известили, что всё в порядке, и поскорей освободили место.

Уртай с неожиданной для его туши резвостью набросился на Костю, без разбору молотя кулаками. И сразу же, если следовать боксерской терминологии, достал Костю: два-три, правда, не сильных и не болезненных удара прились по лицу. Костя взмахнул кулаками всего несколько раз и лишь однажды задел Уртая, больше бил по воздуху. Неожиданно поскользнулся и упал. Со стороны все это, конечно, представилось как победа Уртая за явным преимуществом. Костя тут же вскочил. Шоркнул рукавом по носу, ощутил во рту знакомый солоноватый привкус.

– Краска! Краска! – вскричали сразу несколько пацанов, увидев кровь.

Обычно перед дракой оговаривалось условие – биться до первой краски.

– Уговора не было, – запротестовал Костя. Он не считал себя побежденным, напротив, только сейчас и поверил в свои силы, понял, что сможет противостоять Уртаю. – Дерёмся, пока один не запросит пощады.

– Ты согласен? – воспользовавшись заминкой, Кеша Кудрявцев ступил в круг, обозначавший ринг.

Уртай, уже готовый праздновать победу, не сильно обрадовался новому обороту, но виду не показал.

– Согласен.

– Или до шухера, – подсказали пацаны.

– Или до шухера, – согласился Костя. Кровь из носу текла не сильно, почти не мешала.

– Или до шухера, – подтвердил условие Уртай.

Это означало, что в случае, если вдруг появится директор или кто-нибудь из учителей, драка прекращается. Не хватало ещё, чтобы их накрыли и потом разбирали на комсомольском собрании.

Второй раунд получился немногим дольше первого и проходил иначе. Костя теперь не подставлял лицо под Вовкины кулаки, а уклонялся, изредка, улучив момент, бил сам. Костя меньше Уртая махал кулаками, но производительней. Оказывается, Вовка тоже не умел драться – молотил вслепую. Он привык, что его все боятся.

Один раз Костя звезданул ему особенно сильно, даже себе повредил козонки. От боли Вовка озверел, оправдывая данное ему прозвище. Но его наскоки были короткими, он быстро выдыхался, начинал сопеть и лупил кулаками уже по инерции – такими ударами ощутимой боли не причинить. Пробовал сграбастать Костю и повалить, но это был запрещённый приём. Пацаны протестовали:

– Всхватку нельзя!

Злость Уртай изливал в ругани.

– У, падла, нос сворочу!

– Себе? – спрашивал Костя, вызывая всеобщий смех и удваивая ярость соперника.

Неизвестно, каков был бы исход их поединка, никто не собирался признавать себя побежденным.

– Шухер! Банный гребётся.

И точно, из-за угла школы появился Евгений Петрович, летевший на всех парах – только бурки поскрипывали. Видимо, кто-то оповестил его, он даже и пальто не надел, лишь шапку каракулевую напялил на голову.

Пацанов как смыло. Кому охота влипнуть в историю. Уртай со своими пристегаями удрал на стадион, Костя, сопровождаемый Кешей и Павликом, укрылись во дворе. Остальные врассыпную, кто куда. Директор никого не засёк.

Кровь продолжала сочиться из носу. Если бы не это, он мог считать себя победителем, но расквашенный нос подвёл – выходит, Косте досталось больше. Судейства не велось, никто

не подсчитывал набранные очки, а вот кровь – факт весомый. Не зря же большинство ребячьих драк продолжалось до первой крови. Поэтому результат очевиден – победил Уртай. Костя негодовал на директора, а более того на доносчика: кто-то ведь оповестил Банного. Хотя вполне возможно, что, находясь у себя в кабинете, тот мог слышать возгласы и гам неподалеку от школы и догадаться, в чём дело.

Хорошо, в этот день мать была на дежурстве, Косте не пришлось сочинять: мол, упал с лестницы.

«Давно стал таким неуклюжим, что тебя лестница не держит? Кто-то помог упасть?» – непременно сыронизировала бы мать.

Кровь Костя отмыл по дороге домой – снегом. Но худшее обнаружилось немного спустя. Начало пухнуть левое подглазье. Костя глянул в зеркало и ужаснулся. Что делать, он не знал. Слышал, существуют примочки, но какие? Единственное, известное ему средство – снег. На дворе уже стемнело, можно было не опасаться докучливых глаз. Холодные снеговые примочки вроде бы уняли жжение. Но не всю же ночь ему пастись в палисаднике, где снег был чище, чем повсюду.

К утру глаз заплыл. Костя с потугами пальцами разнял веки, – удостоверился – глаз цел, зрение не пострадало. Но в школу с таким украшением не заявишься. Как назло, и читать нечего: библиотечные книги он сегодня и собирался обменять. Но и в библиотеку не пойдёшь с фонарём под глазом. Скучал дома, сочинял оправдательную историю для матери: вечером она придёт с работы и ему не избежать расспросов. Мать теперь работала в больнице няней и часто сверх положенного ей дежурства нанималась в ночные сиделки к послеоперационным больным.

Назавтра Кеша и Павлик навестили его после уроков.

– Пришли полюбоваться моим фонарём?

– Хороший фингал! – оценил Кеша.

– Больно? – посочувствовал Павлик.

Радостную весть они выложили напоследок: Уртай тоже не появлялся на уроках, отсиживается дома с фонарём под глазом, точно так же как Костя. Большей радости они не могли ему доставить: выходит, он не был побит.

– Боевая ничья, – определил Кеша. К этой поре они уже научились играть в шахматы и пользовались кое-какой спортивной терминологией.

Костина мама, на удивление ему, отнеслась к украшению спокойно: не приставала с расспросами, а раздобыла из своих тайников склянку с мазью.

Через день, когда он появился в школе, синяк опал, от него осталась лишь тень. Из учителей никто не обратил на него внимания. К своему удивлению, Костя обнаружил, что драка с Уртаем подняла его престиж. Видимо, на пацанов произвело действие, что Костя не признал поражения и продолжал биться и после того, как Вовка расквасил ему нос.

Уртай явился в школу днём позже, и подтёк у него, тоже под левым глазом, был куда как заметней. Надо полагать, у них дома не нашлось свинцовой примочки. Но ребята, видевшие их в коридоре, не знали этого, а сравнивали результат. Результат был в Костину пользу.

Глава пятая

Ни кофе, ни тем более чаю приличного в гостиничном буфете не было. Константин Сергеевич попил сладенькой, забеленной бурды: то ли кофе, то ли какао – не разобрать. Насилу сжевал дряблую сардельку. Ни с Читой, ни с другими городами Иркутск не разнился. Буфеты разве что в Москве получше, да и то лишь в центральных гостиницах. Но к другим городам Константин Сергеевич претензий не имел, за Иркутск было обидно. Уж чай-то могли бы научиться заваривать.

Утро было прохладное. Слабое дуновение от Ангары отдавало влагой. Свободного времени у него хоть отбавляй. Решил пройтись по городу в центре, оглядеться. Не может быть, чтобы не сохранилось ничего знакомого, кроме довоенной гостиницы «Сибирь» с её окатыми

стенами. Ночью из такси у него просто не было времени рассмотреть хорошо. До набережной отсюда рукой подать. Эту часть города он помнит хорошо. Раньше, чем переехали в предместье за Ушаковку, жили неподалеку. И после переезда он здесь часто бывал. Это ведь живущим в центре нечего делать на окраинах, а жители предместий редко минуют центр.

Новая гостиница, снаружи тоже ничем не примечательная, похожая на сотни точно таких же гостиниц во многих городах, не вызвала у него ни восторга, ни протеста – подобные здания примелькались, на них не обращаешь внимания. Прибрежные кварталы, хоть и сильно измененные, порадовали знакомыми чертами. А перемены здесь были к лучшему. Обе каменные церкви отреставрированы и прибраны. Он помнит их неухоженными, запущенными, со сбитыми маковками.

Сколько же разных разностей перевидали они на своем веку! Хотя какой у них век в сравнении с европейскими городами – триста лет ещё не простояли.

Вдруг всплыла пустяковая картинка из раннего, ещё дошкольного детства. Ясный, летний, должно быть воскресный, день. В соборе шла служба. Костя зачарованно глазел по сторонам, держась за материнскую руку. В храме было полно народу, и он боялся потеряться. Родители встретили знакомых и после службы большой компанией вышли на берег. Косте предоставили свободу. Но к воде не разрешили спуститься, он с завистью глядел на своих безнадзорных сверстников, которые отважно лазали между осклизлыми столбиками. Неподалеку от церковной паперти стояла каменная арка, на ее мраморных ступенях малышня затеяла игру в пятнашки. Костя хотел присоединиться к ним, когда его внимание привлекла глубокая траншея, огороженная тесовым заборчиком. Несмотря на праздничный день, люди в спецовках ходили вокруг ямы, один на корточках сидел в глубине, замерял что-то рулеткой и результаты громко сообщал молоденькой девушке, которая записывала цифры в тетрадку. Сверху из-за тесового ограждения Костя смог увидеть верхнюю часть бревенчатого сруба, обнаженного от песка и мусора.

После отец объяснил ему, что это остатки старого острога – с него начинался Иркутск.

– Они закапывали дома в землю, чтобы татары не увидели, – блеснул Костя своей первой научной догадкой.

И хоть отец растолковал ему, что дома строились наверху, а погребло их после, спустя долгие годы, Костю он не разубедил, тот остался при своём: первые иркутские поселенцы для безопасности зарывали свои жилища под землю.

Сейчас Константин Сергеевич вдруг подумал, что среди тех первых острожных поселенцев могли быть и его предки. Костина мама коренная иркутянка. Её прадед – известно ей достоверно – местный, не из пришлых. Всю свою жизнь он портняжил, так же как его сыновья и внуки. Умение Костиной мамы обращаться с иглой и ниткой не случайно. Увы, на ней полезное ремесло и оборвалось, – ни сын, ни невестка не переняли мастерства. А как оно сейчас сгодилось бы внучке Константина Сергеевича. Чем тянуть с родителей, шила бы свои наряды сама. Передать юной Вике портняжный навык её прабабки было некому.

Если бы только одно портняжное искусство прервалось. Молодые, новые поколения начинают жить так, будто до них ничего не было. Уже Костино поколение во многом такое. На своих родителей и дедов смотрели, как на отживающие памятники старины, не имеющие ценности, не значащие для будущей жизни ничего и оттого не принимающие новизны, как его мать не признавала новых названий иркутских улиц.

«Начало этому мы и положили – не Викино и Димкино поколение, – подумал он. – Хоть и грешим на них – всю вину сваливаем».

По дороге к мосту он на время окунулся в старый Иркутск. Появились и тут новые заводские корпуса, высоченная труба, какой прежде иркутяне не видели, но многое узнавалось.

Выше моста городская набережная стала неузнаваемой: бетонный парапет, сквер и большая часть зданий, глядевших фасадами на Ангару, построены после войны. По их облику легко назвать время застройки – по большей части пятидесятые годы. Лишь вон то, стоящее

немного в глубине, еще одна новая гостиница — детище семидесятых годов. И вдруг взор Константина Сергеевича обратился левее гостиницы.

«Чёрт знает что!» — воскликнул он.

Восклицание сорвалось невольно, оно не выражало ни восторга, ни осуждения — чистое удивление. Из сквера, вдоль которого он шёл, нельзя было в подробностях разглядеть новое здание. Он пересёк улицу. Что за странное нагромождение, он не уяснил и вблизи. Для жилого дома слишком причудливо, вычурно. На обсерваторию не похоже. Да и зачем она тут?

Странная мысль явилась Константину Сергеевичу. Если бы его спящего перенесли вот к такому строению и поместили так, чтобы других домов не было видно, то, пробудившись, он бы и не сообразил, в какую страну, на какую планету его занесло. Еще бы и подивился: «Экие чудные дома у марсиан!»

Было — в Иркутске хозяйничали вандалы-разрушители. В детстве он застал самый расцвет их бурной деятельности. Многие успели снести, изуродовать. Теперь, похоже, пришла пора вандалов-созидателей. Как будто задались целью оборвать память о прошлом.

Будь этот дом в самом деле построен на Марсе, Константин Сергеевич ничего бы не имел против него, возможно, отыскал бы в его архитектуре и своеобразие и достоинства. В Иркутске ему хотелось видеть дома, среди которых можно чувствовать себя иркутянином или хотя бы русским.

Полюбовавшись ещё немного на марсианское барокко, он направился дальше. Шёл подле самого парапета, засмотревшись на Ангару. Воды прозрачней и чище ангарской он нигде не видел. В горных речках? Так они мельче, не столь величавы. Мельком отметил про себя, как сильно переменялся вид на противоположную сторону. Один вокзал прежний. Но вскоре он отвлёкся, перестал замечать, где идёт...

Недавняя драка с Уртаем, полученный синяк и прочие мелочи вскоре отодвинулись на задний план, заслонились другими событиями. Посреди зимы завертелось такое...

На самом деле, конечно, началось не в ту зиму, а много раньше. Но прежде проходило стороной, не затрагивало людей, которых Костя знал близко. И к тому же, чтобы понять, когда и как началось, нужен был опыт, каким Константин Сергеевич обладает лишь теперь, а в ту пору ещё только приобретал. Поэтому тогда и казалось, что заваруху вызвала книжка, случайно разысканная Павликом Зяблых на библиотечной полке. Заведующая школьной библиотекой Нина Владимировна позволяла Павлику рыться на стеллажах. К завзятым книголюбам, кто аккуратно обращался с книгами, она была снисходительна.

Происходившие события выглядели случайными, не связанными между собой. Сами по себе они были случайны и во всякое другое время не вызвали бы серьезных последствий. Но тут, как говорится, пришлось в масть. Точнохонько в масть!

Помнится, годом раньше в школах ввели новый предмет. Или, лучше сказать, не новый предмет, а был издан новый учебник «История народов СССР». Тот учебник даже и по нынешним меркам выглядел вполне прилично: много было иллюстраций, вкладок с цветными фотографиями. И выпущен он был таким тиражом, что впервые за время Костиного учения книжки не распределяли одну на троих — каждому школьнику досталась. Особенно много в учебнике было фотографий. Выдающиеся деятели крупным планом на всю страницу, другие — по четверо, а то и по девять человек. Преподаватель истории строго следил за состоянием учебника: обнаружит и порванную или запачканную страницу, занизит оценку в четверти.

Шел урок математики, когда в класс внезапно ворвался недавно заступивший новый директор. Раздалось дружное хлопанье крышками парт — все вскочили. Евгений Петрович всегда выглядел несколько заполошным, а тут его будто наскипидарили. Наверное, не у одного Кости мелькнуло в уме: «Не по мою ли душу?» Вовсе-то безгрешных учеников ни в одном классе не сыщешь, за каждым найдется провинность, по крайней мере провинность с точки зрения учителей и директора. Воспаленным взглядом Банный обвёл побледневшие лица.

– Всем достать учебники по истории, раскрыть, – директор назвал нужную страницу, – положить на парту.

Страница пришлась на развертку с фотографиями. Скорее всего в мусорной корзине нашли листок, вырванный из учебника, и Банный ищет виновного. Костя ещё посочувствовал бедолаге: не бросай где попало. Заодно с растяпой пострадают и те, у кого на этой странице обнаружатся чернильные кляксы.

Банный прошёлся вдоль рядов. Кой у кого учебников не оказалось.

– Принесете завтра!

Нет, похоже, что Костина догадка не верна: уж если бы директор разыскивал того, кто вырвал листок, он велел бы немедленно, не откладывая на завтра, принести учебник. И точно, другая забота привела Банного.

– Всем, – раздельно выговаривая каждое слово, произнёс директор, – чернилами аккуратно замазать фотографии...

Фамилии тех, чьи изображения следовало замазать, повторил трижды. Сделав внушительную паузу, – точно выстрелил:

– Эти мерзавцы – враги народа!

Той зимой новые учебники ещё дважды подверглись такой же экзекуции. Зато после этого историк не проскрёбывался, если появлялась клякса и в неположенном месте.

Никто из пацанов тогда не усомнился: назвали – значит, враги.

В следующую зиму, то есть в год, когда появился Павлик и Женья, историю преподавал Банный. Новенького он невзлюбил. Павлик любил рыться в старых книгах, отыскивать любопытные подробности из истории, не вошедшие в школьную программу.

– Никаких посторонних книжек! – обрывал Банный Павлика, когда тот пускался объяснять, где он вычитал про факты, пропущенные или иначе истолкованные в учебнике. – Хочешь удивить своими знаниями?

Вот тут директор заблуждался: Павлик спорил с ним не из жажды тщеславия, а единственно из пристрастия к истине.

Классная руководительница Нина Степановна и завуч, добрейшая Лидия Панфиловна, остерегали Павлика: не спорь с директором – опасно. Почему опасно спорить, если ты прав, Павлик не понимал. Но учительницы были правы.

Уроки истории проходили скучно. Банный своим громким внятным голосом почти слово в слово пересказывал сухие параграфы из учебника. Он имел привычку прогуливаться между рядами парт. На уроках полагалось сидеть не шелохнувшись, его раздражал малейший шорох, переглядывания и перешептывания. За весь остальной день не уставали так, как на его уроке.

Павлик приспособился читать сквозь щель в парте, неслышно передвигая книжку со строки на строку. На этот раз он чересчур увлёкся, шуршание перелистнутой страницы выдало его. Директор мгновенно очутился рядом. Выстрелила, откиннутая его рукой, крышка парты. Павлик не успел даже захлопнуть раскрытую книгу.

Окажись книга обычной, безобидной – романом Жюль Берна, Вальтера Скотта, Майн Рида – одной из тех, какими увлекались сверстники Павлика и Кости, ничего бы исключительного не произошло. Ну, накричал бы Банный, выгнал бы из класса, велел позвать в школу родителей. Через три дня никто бы и не вспомнил про этот случай. По книжка была редкостная. Вырвав её у Павлика, Банный с минуту оторопело разглядывал обложку. Костя, ближе других сидевший от Павлика, сумел прочесть: «Шульгин «Дни». Ни имя автора, ни название книги Косте ни о чём не говорили.

– Откуда у тебя эта мерзость? – От волнения голос Банного утратил ясность, стал хриплым. Свой трофей он держал двумя пальцами, брезгливо, точно дохлую кошку. Книга и без того была потрепанная, старая, несколько страниц держались в ней на живульке, а теперь она и вовсе грозила рассыпаться.

– Зачем вы так обращаетесь с книгой! – возмутился Павлик. – Она библиотечная.

– Что! – вскипел Банный. – Повтори, что ты сказал!

Костя, да и не только он, подумал, что директора возмутил тон, каким Павлик посмел обратиться к нему.

– Вы так разорвёте её, – Павлик потянулся к директорской руке, пытаясь спасти книжку. Банный отвёл руку.

– Где ты достал эту мерзость? – процедил он сквозь зубы.

– Книга библиотечная.

– Что? – Банный впился в Павлика таким взглядом, точно хотел его прожечь насквозь. – Я спрашиваю: где ты взял эту гадость?

Отдельные листы уже посыпались на пол.

– Книгу я взял в библиотеке! – Разгневанный вид директора ничуть не устрасил Павлика – он тоже повысил голос.

– В какой ещё библиотеке?: – явно не поверил ему Банный.

– В нашей, в школьной.

– Что?! Ты скажешь правду?

– Я сказал правду!

– Врёшь!

– Не смейте на меня кричать! Я никогда не вру.

Банный впился взглядом в Павлика, затихшего перед ним, но не желающего опустить глаза. Со стороны казалось, что они пытаются заигнотизировать друг друга. В классе установилась небывалая тишина: слышно было, как за окнами расчирикались пригретые полуденным солнцем воробьи; издали донёсся детский голос, весело кричавший кому-то. Там, за пределами школьных стен, текла обыденная мирная жизнь.

Игра в гляделки закончилась победой Банного.

– Да вы сами посмотрите, – первым встрепенулся Павлик, – на книге есть штамп.

Павлик оказался прав, Банный тут же убедился в этом. Ему явно не хотелось верить своим глазам.

– Безобразие! – выстрелил он, адресуя свой гнев уже не Павлику, а в пространство. – Надо соображать, какие книги можно читать, – бросил он и, по-прежнему двумя пальцами держа книжку на вытянутой руке, устремился за дверь.

Быстрые шаги прозвучали по коридору и замерли в отдалении.

Двое смельчаков из крайнего к двери ряда пустились следом за Банным на разведку. Вскоре возвратились.

– Библиотекарше задаёт шороху, – известили они.

Разговор, происходивший в библиотеке, назавтра стал известен всему классу. Светка Тарбеева из параллельного седьмого «А» очутилась в библиотеке случайно. У них был урок литературы, учительнице для справки потребовалась какая-то книжка, и она послала за ней отличницу Тарбееву. Светка уже собралась уходить, когда услышала стремительную поступь Банного. От страху она безотчётно спряталась за стеллаж.

Директор ворвался ураганом, ошеломил оробевшую библиотекаршу, которая от внезапности не могла сообразить, о чём речь.

– Какая книга? Какой штамп? – потерянно бормотала она.

– Вот книга! Вот штамп! – предъявлял Банный неопровержимую улику. – Это диверсия!

Мало-помалу он утихомирился, дело прояснилось, и Нина Владимировна по регистрационному журналу установила, какими судьбами злополучная книжка проникла на полку школьной библиотеки. Два года назад, когда книжный фонд только создавался, некто Петров Егор Петрович, житель рабочедомского предместья, в прошлом врач, подарил школе около сотни книг. Их зарегистрировали и проштемпелевали. Большей частью подаренные книги были не для детского чтения, не входили в школьную программу, но могли понадобиться учителям или старшеклассникам, которые интересуются литературными источниками сверх программы.

Ничего себе подарочек, – пробормотал Банный. – Где он, этот благодетель, даритель?

– В прошлом году похоронили, – сообщила Нина Владимировна.

– Его счастье!

Выяснилось, что дареными книжками, кроме Павлика Зяблых, никто не пользовался. Павлик вообще любознателен, много читает. Библиотекарша не могла нахвалиться им.

– И вы не поинтересовались, что он читает?

Банному пришлось несколько раз повторить вопрос.

В оправдание Нина Владимировна твердила одно и то же:

– Мальчик начитанный, любознательный.

– Да вы хоть представляете, куда его завела эта любознательность?

– Очень эрудированный мальчик, – произнесла библиотекарша слово, неизвестное ни Светке, ни Галке Серебровой, которая со Светкиных слов пересказывала содержание разговора.

– Ребята, что значит эрудированный? – выпытывала Галка.

– Наверное, чокнутый, – подсказал кто-то.

– Иди ты, – отмахнулась Галка, поискала взглядом Павлика. Но того не было в классе. Он один мог знать, что означает слово.

– Эрудированный, кто много знает, – подсказала тихоня Валя Зайцева.

– А я и говорю – чокнутый.

Как поступить с подаренными книгами, библиотекарша не знала. Директор мгновенно разрешил проблему. Вызвал уборщицу и кочегара. Крамольные книги сложили в мешки.

– Сжечь! – распорядился Банный и сам последовал в кочегарку за уборщицей и истопником. На этом бы всё и закончилось, если бы... если бы на месте Павлика был кто-то другой, если бы при разговоре директора с библиотекаршей не оказалось Светки и если бы Галка Сереброва не растрезвонила историю всем и про судьбу книг не узнал бы Павлик Зяблых.

– Фашист! – выпалил он. – Только фашисты жгут книги.

Тут нужно приплюсовать ещё одно «если бы». Если бы слова, опрометчиво сказанные Павликом, не дошли до директора, возможно, что история с книгами не получила бы продолжения. Но слишком много накопилось этих «если бы», и все они в итоге суммировались.

Уже на следующем уроке в класс нагрянул директор. На сей раз он был собран, сдержан и зловеще молчалив. Прямоком устремился к парте, за которой сидел Павлик. Предгрозовая тишина повисла в классе. Она прервалась неожиданным выкриком:

– Зяблых!

Павлик поднялся на ноги, негромко стукнула крышка парты.

Медлительность ученика вывела Банного из себя.

– Сесть! – велел он.

Павлик сел.

– Встать!

– Сесть!

– Встать!

На этот раз Павлик вскочил проворней, громче хлопбыстнув крышкой. Директор удовлетворился достигнутым результатом:

– Вот так нужно вставать, когда вызывают.

На некоторое время установилось молчание. Банный и Павлик вторично затеяли игру в гляделки. Молчание нарушил директор:

– Так кто у нас в школе фашист?

Павлик молчал.

– Повтори: кто фашист, – не отступился Банный.

– Кто сжигает книги, – сказал Павлик. – Фашисты сожгли книги Гейне...

– Так-так, – перебил директор, не дав Павлику развить мысль. – А какие книги были сожжены в школьной библиотеке? Среди них были книги Гейне? Книги Толстого, Пушкина? Может быть, Горького или Маяковского? – допытывался он.

– Всё равно нельзя жечь книг, – на своём стоял Павлик. – Книг боятся фашисты.

– Молчать! Он ещё рассуждает. Ты это сам придумал?

– Так сказал папа. Я ему верю – он честный.

– Молчать! – снова оборвал Банный. – Какой он честный, проверят.

История с подаренными книгами закрутилась по второму витку. В школу явилась комиссия из трёх человек, вкупе с директором и Ниной Владимировной они заперлись в библиотеке, пересмотрели все библиотечные книги, проверили записи в учётных карточках. Потом состоялось

собрание – разбирали поступок Павлика Зяблых. Похоже, что книги, спроваженные в кочегарную топку, заслуживали огненной инквизиции. На собрании зачитали список сожжённых книг. Помимо той, из-за которой заварилась каша, Косте запомнились всего несколько названий: «Жизнь Иисуса», «Воспоминания генерала Краснова» – того самого белогвардейского, и один роман с длинным заголовком: «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая в гробе своего мужа». Когда в списке дошла очередь до «Магометанки», прокатился всеобщий смех.

От Павлика потребовали, чтобы от извинился перед директором, признал, что несправедливо назвал его фашистом, и дал обещание впредь не увлекаться сомнительным чтивом. Таким был итог собрания. Банный настаивал на исключении Павлика из комсомола. Собрание не поддержало директора.

На этом дело не прекратилось. Вскоре созвали повторное собрание. Обнаружились новые факты, они и послужили поводом к пересмотру дела. Незадолго до собрания арестовали отца Павлика. По слухам, старший Зяблых в недавнем прошлом был связан с вредителями, разоблачёнными в Тулуне. Они обосновались там на железной дороге, устраивали крушения и задерживали срочные грузы.

Костя, как большинство его одноклассников, не задумался связать происшедшее в школе с арестом отца Павлика – события случайно наложились одно на другое. Лишь теперь, почти полвека спустя, умудрённый опытом Константин Сергеевич обнаруживал цепочки связей между, казалось бы, разнородными событиями. Время проявляет и не такие зававыки.

Кроме директора, на собрании присутствовал некий молчаливый субъект, внимательно выслушивающий каждого, одаривая благодушной и ободрительной улыбкой. Его принимали за представителя Осоавиахима, поскольку он бы одет в полувоенную форму, и на собрании после разбора персонального дела Павлика стоял вопрос, связанный с работой Осоавиахима в школе. Непонятным было только, почему Банный так много внимания уделял представителю Осоавиахима: перед началом собрания беседовал с ним наедине, запершись у себя в кабинете, и на собрании всё время поглядывал в сторону, где устроился тот – с краю за одной из парт. Создавалось впечатление, что половину произносимых слов директор адресовал ему.

Опять всплыл список злополучных книг, опять все дружно посмеялись над «Прекрасной магометанкой».

Под тяжестью факта ареста старшего Зяблых, чья вина косвенно ложилась и на Павлика, собрание подавленно молчало. Лишь двое десятиклассников, мальчик и девочка, выступили с покаянными речами, винили себя: не разглядели, не распознали, должным образом не оценили поступок Павлика на первом собрании, потеряли бдительность, поддались чувству сострадания...

За Павлика вступился один Кеша Кудрявцев:

– Ребята, да вы что? Исключать за то, что читает книжки. Так мы тогда в комсомоле одного Вовку Уртая оставим – он ничего не читает.

– Кудрявцев, – перебил Банный, обменявшись взглядом с представителем Осоавиахима. – Не искажайте сути. Зяблых исключаем не за чтение книг.

– Но ведь всё завертелось с книжки, а теперь его обвиняют в пособничестве вредителям. Да мало ли чем занимался отец...

– Кудрявцев! – Директор вышел к столу. Кеше он больше не дал произнести ни слова, стал упрекать комсомольцев в потере бдительности и в мягкотелости.

Павлика исключили.

А буквально в тот же самый день, за два часа до собрания, в школьной библиотеке состоялся очень важный для Павлика разговор между ним и завучем школы Лидией Панфиловной. Что разговор был важным, Косте тогда не пришло в голову. Он не всё и понял, потому что много было недомолвок и неясностей в словах Лидии Панфиловны.

Костя ненароком очутился в роли подслушивающего. Ему в голову не пришло, что разговор секретный, иначе он не стал бы слушать, каким-либо способом напомнил им о себе, дал понять, что они не одни в библиотеке – за перегородкой посторонний. В этом отношении он был щепетил: никогда не читал чужих писем и не подслушивал, даже если ему очень хотелось знать, о чём пишут или о чём говорят. Навсегда запало в памяти, как его мать однажды отчитывала соседку со второго этажа. Сколько уничижительного презрения прозвучало в словах, произнесённых Костиной мамой:

– Так вы, оказывается, подслушивали, Ольга Андреевна!

– Ну и что тут такого? – опешила та.

– Вам даже неизвестно, что подслушивать гадко и недостойно?

– Барские причуды, – пробормотала соседка, но ретировалась сконфуженная.

Костя не подслушивал. Начало разговора он даже пропустил мимо ушей, настолько увлёкся делом. Готовились к школьному вечеру по случаю третьей годовщины Конституции. Их классу поручили ответственное задание: следить за порядком, провести доклад, организовать самодеятельность. Поскольку у Кости не было никаких способностей к сцене: ни танцевать, ни петь, ни играть на балалайке или баяне он не умел, – ему поручили сделать вступительный доклад. Готовился он серьёзно, но вовсе не потому, что директор посулил ему пятерку в случае, если доклад получится, – взыграло тщеславие, хотелось блеснуть, удивить своих одноклассников. До срока оставалось несколько дней, всякую свободную минуту Костя проводил в школьной библиотеке, рылся в энциклопедии. На руки её не выдавали, разрешалось только делать выписки на месте.

Костя не слышал, когда появились завуч Лидия Панфиловна и Павлик Зяблых. Дощатая заборка с широким вырезом – через него выдавались книги – отделяла читальный зал от книжного хранилища. Не вступи в разговор библиотекаряша Нина Владимировна, Костя не отвлёкся бы от своего занятия. Он подумал, что Нина Владимировна обратилась к нему. Она сидела на стуле на своём обычном месте и, как всегда, с книгой в руках. Услыхав её голос, Костя выглянул из-за стеллажа, и только тут до сознания донеслись голоса Павлика и Лидии Панфиловны. Он было уже вернулся к своему занятию – как раз наткнулся на старинную иркутскую летопись и выуживал из неё много неожиданного и занимательного. Но тут он услышал голос Павлика:

– Я этого никогда не сделаю.

Павлик произнёс негромко, но упрямо.

Слова, произносимые Лидией Панфиловной, звучали по-учительски размеренно и наставительно, она старалась убедить Павлика;

Так поступают все. Тебя никто не обвинит в преступлении, совершенном отцом.

– Он не совершал преступления!

– Тише! Не нужно кричать. Я допускаю: он не совершил ничего намеренно – просто допустил ошибку, проявил халатность, повлёкшую...

– Мой папа честный и добросовестный. Он больше всего ценит порядочность. Я не верю. Никогда не поверю!

– Ну и прекрасно, не верь. Только не горячись. Я не хочу зла ни тебе, ни твоему папе. Ты веришь мне? Веришь?

– Верю, – еле слышно прозвучал ответ Павлика.

– Тогда слушай. Если твой папа невиновен, это выяснится, и его освободят. Но сейчас ты ничем не поможешь ему. От того, что ты напишешь заявление, ему не станет хуже. Он обрадуется, когда узнает, – скажет: мой мальчик поступил умно. Он же не хочет, чтобы и

твоя жизнь тоже сломалась. Сейчас его больше мучает, что будет с тобой. Своим упорством ты причинишь ему новые страдания.

– Неправда! Вот если я напишу заявление, отрекусь...

– Не будь упрям. Подумай.

– Я не напишу. Это предательство!

– Павлик, милый мой мальчик, – вторично в их разговор вступила библиотекарша, – не будь так категоричен. Отца ты всё равно не спасёшь, а себе поломаешь жизнь.

Библиотекарша искренне сострадала Павлику, слёзы душили её, она через силу говорила.

– А если... Если я напишу – не поломаю себе жизнь – зачем мне такая жизнь?

– Павлик, дорогой, – в голосе Лидии Панфиловны звучала беспредельная нежность и доброта, – ну подскажи, чем ещё тебя вразумить? Какие доводы привести? Ты не представляешь всех последствий своего упрямства.

– Я не буду писать.

Снова на помощь завучу пришла библиотекарша. От волнения она поднялась на ноги и наполовину высунулась в проём, вероятно полагая, что так её слова скорее проймают Павлика:

– Ты сделаешь несчастным своего отца, пойми хоть это! Потом ты раскаешься, что не послушал доброго совета. Всю жизнь будешь жалеть.

– Не раскаюсь. Не буду жалеть! – вскричал Павлик.

Хлопнула входная дверь, и его шаги затихли в отдалении.

– Господи, – вздохнула библиотекарша. – А какой славный мальчик, какой начитанный.

Он действительно не представляет себе всех последствий, – согласилась с библиотекаршей Лидия Панфиловна.

– А девочка, его сестра, написала? – поинтересовалась библиотекарша.

– Ей не нужно. Родители не регистрировали брак, она не его дочь.

Вот когда Косте раскрылась тайна, почему Павлик и Женя не похожи друг на друга – они не родные, а сводные брат и сестра. А их младшая сестрёнка Оля Жене родная по матери, Павлику – по отцу.

История, происшедшая с Павликом Зяблых в ту зиму, долгое время не беспокоила Костину совесть, он полагал, ему не за что винить себя. Ну, не выступил на собрании, не поддержал Кешу Кудрявцева, так ведь и не считал, что должен был вступить за Павлика – тот сам навёл на себя беду. И что там случилось с его отцом, Косте неизвестно. Павлик считает отца невиновным, арест – ошибкой, но так ли это. Кругом и всюду разоблачают вредителей. Их способность втираться в доверие, обманывать и опутывать людей порядочных и честных общеизвестна – кто об этом не слышал, не читал. Где гарантия, что отец Павлика не оказался вовлечённым в их сеть.

– Чушь собачья! Не верю я. – Кеша Кудрявцев сказал это наедине с Костей однажды, и больше они никогда подобных разговоров не затевали.

Долгое время Костина совесть была спокойна, хотя чисто бессознательно он избегал вспоминать собрание, на котором решалась судьба Павлика, и своё поведение – сковавшую его робость. Ведь нельзя было отмалчиваться – честнее было поддержать директора, если ты и впрямь считал, что Павлик заслужил столь суровое наказание.

Позднее, когда он понял, что происходило тогда и ему стало стыдно за себя, за свое малодушие, он некоторое время утешался мыслью, что-де, мол, Павлик тонул, пользы от того, что Костя, не умеющий плавать в этой воде, кинулся бы очертя голову спасать товарища, не могло быть – утонули бы оба. И нужно было прожить ещё немало, чтобы сообразить – Павлик не тонул, а его топили. Разница огромная. И от поведения таких, как Костя, зависело многое. Тогда бы ведь банным – таким, как

Банный – пришлось топить не одного Павлика, но и всех, кто спасал его.

Одним словом, Костя предал своего товарища. И в глубине совести знал про это, поэтому интуитивно избегал думать обо всём происшедшем в давнюю зиму.

Глава шестая

По краю тротуара в самом центре города рыли канаву под новый кабель. Ограждение из досок прижимало пешеходов к внешней обочине. Девушка, куда-то спешившая, обогнала Константина Сергеевича, шоркнув по боку скользкой полкой своей куртки.

– Извините. – На мгновение озарила его молодой, беспричинно счастливой улыбкой.

От неожиданности Константин Сергеевич остолбенел: незнакомая иркутянка, вероятно студентка, разительно походила на внучку Вику. Он было устремился вслед за ней, но одумался. Вику в Иркутск никакими судьбами не занесёт. Незнакомка только на беглый взгляд напомнила внучку: и походка другая, и ростом ниже Вики. Джинсы и спортивные куртки носят чуть ли не поголовно и парни, и девушки. Волосы у иркутянки светлые, не Викины. Впрочем, цвет волос примета не надёжная. Но Вика над своими не изгалялась, не было нужды – природа расщедрилась: и цвет что надо – тёмно-русые, почти чёрные, и густые, пышные, шелковистые.

Встреча разбредила душевную рану. Всё-таки не ожидал он от своей любимицы подобной чёрствости и безразличия. Надеялся, что хоть немного питает она нежности к своему деду.

В шутку, бывая в хорошем настроении, когда между ними царило согласие, Вика говорила:

– Ну почему бы тебе, деда, не перебраться к нам из своего каторжного края. Фруктами бы попитался, сразу бы вот такой кругленький стал, – обвела она ладонями вокруг его лица.

От длинных холёных пальцев повеяло нежностью и живительным теплом. Хоть она и не дотронулась до его щёк, но он словно бы ощутил родственно любовное прикосновение. В старости лучше ценишь такие вот знаки внимания. И сберегаешь их в памяти.

Девушка, возвратившая его из прошлого в настоящее, была уже в конце квартала, синяя вязаная шапочка мельтешила вдалеке посреди других ярких разноцветных беретов и шарфов. Парни и девчата, почти все с одинаковыми дипломами в руке, спешили в одном направлении.

«Да ведь там университет!» – вспомнил он. По крайней мере, в довоенное время был. А за ним неподалеку и Кузнецовка, где лечилась мать.

Константин Сергеевич невольно стал приглядываться к молодежи. У себя в Чите он иначе воспринимал её – обыденней, привычней. Теперь же смотрел на неё как бы глазами постороннего, приезжего иностранца.

«Это в своём-то родном городе!» – усмехнулся он.

Одеты хорошо, модно, красиво и большей частью скромно. Таких, которые бы выпячивались за счёт наряда, незаметно. Он, верно, не больно сведущ, навряд ли сумеет отличить дешёвые местного пошива джинсы от самых ультрамодных зарубежных.

И ещё он заметил – очень много хороших, просто-таки красивых девушек. Лет пять тому назад Константин Сергеевич побывал в круизе вокруг Европы. Возвратясь в Читу, выступал перед своими экспедиционными, рассказывал о поездке. Кто-то задал вопрос:

– Правда, что в Италии много красивых женщин?

Он тогда ответил:

– Правда, очень много. Почти как у нас в Чите.

В зале развеселились. Но он вовсе не шутил, сказал правду. Наверное, любой итальянец, побывав он в Чите, со свойственным южанину темпераментом воскликнул бы: «О, сколько у вас красивых женщин!»

Невольно сейчас поразился: по этой статье Иркутск ничуть не уступит Чите.

В школьные годы он был придирчив не в меру. Красивых замечал в фильмах на экране – среди одноклассниц не находил. Из всей школы мог назвать одну Зою Швыреву. Её все считали красивой. В старших классах из-за неё, бывало, дрались. От ухажеров у неё не было отбою. Но он, Костя, в их числе не состоял. Почему? Сам не знает. Ведь если бы у него тогда спросили, кто у них в школе самая красивая, не задумываясь, назвал Зою. А вот влюблён в неё не был. Хотя у него, может быть, первого была возможность завязать с ней дружбу ещё в шестом классе.

Посреди зимы в канун новогодних каникул состоялся вечер для средних классов, с пятого по седьмой. Тогда Косте в голову не приходило, что спустя пять десятилетий он с умилением будет вспоминать какой-то там обыкновенный школьный вечер. Ничего особенного ведь не было. Небольшой доклад, в меру скучный, состоящий из общих фраз, объявлялись результаты первого полугодия, затем – самодеятельность. И после представления – игры, танцы. По большей части девочки вальсировали друг с дружкой, мальчишки выстраивались вдоль стен, с нарочитым безразличием глазели на танцующих. В промежутках между танцами девочки сбивались шумливыми стайками, чирикали, востроглазо посверкивали глазами. Из их гущи взрывалась песня. Её подхватывали и пели сообща хором. Получалось слаженно. Песни следовали одна за другой без передышки, пели азартно, заразительно. Песенные слова воспринимались не отвлечённо, а так, словно имели прямое отношение к тому, что происходит сейчас здесь, сию минуту. Если девичьи голоса с особым нажимом выводили: «Подари мне, сокол, на прощанье саблю, вместе с саблей пику подари!» – так ясно было, что сокол находится не на далёком Дону, не на Кубани, а тут же поблизости – каждый из мальчишек мог посчитать себя соколом.

Ещё увлекательней проходила игра в почту. Ею обыкновенно заканчивался вечер. Сколько робких и пылких признаний в любви от неизвестного или неизвестной доставляла эта почта. Сколько назначалось свиданий. Само собою, бывали розыгрыши. Но больше всего сочинялось робких полупризнаний. Чаще анонимных. Не у каждого хватало духу подписать нежное послание. А сказать о своём чувстве, хотя бы намекнуть, подмывало.

Костя получил записку от Зои Швыревой. Он стоял в коридоре за дверью, из комнаты, где шла игра, его не видели. Зато он обзревал добрую половину зала. Он как раз надумал войти и видел, как Зоя Швырева передала записку Ане Варзиной – почтальонше.

Аня бегло взглянула на адрес, обвела взглядом всех, кто был поблизости, и остановилась на номере, приколотом у Кости на груди.

– Тебе, – вручила ему сложенную вчетверо половинку тетрадного листа.

«Костя, не хочешь ли познакомиться с хорошенькой девочкой номер двадцать?» – прочитал он.

Пожалуй, не скромно писать о себе «хорошенькая девочка», хоть в этом и не было ни малейшего преувеличения.

По-видимому, Зоины родители были состоятельными, девочка всегда была хорошо одета. Тут, верно, следует оговориться: хорошо одета по тому времени. По нынешним меркам – одета обычно, как все школьницы. В ту пору единой школьной формы не носили, одевались пёстро, в основном бедно. Заплатанные рубахи и штаны были привычным явлением, а не капризом моды. Заплат стыдились. Из всей школы Зоя была чуть не единственная, ходившая на уроки в строгом коричневом платье с белым передником, как у прежних гимназисток. Может быть, по этой причине Константину Сергеевичу всегда нравилось видеть на девочках-подростках школьную форму.

И внучка Вика запомнилась ему в такой форме – славненькая, востроглазая девчушка. Завидев его, она опрометью кидалась навстречу и повисала на нём довольненькая, гордая тем, что у неё есть такой ладный и бравый дед, способный поднять её на руки и даже подбросить. Упражнение давалось ему нелегко, но виду он не показывал.

– А папа не может, не может, – верещала счастливая Вика.

И точно, где уж её папе поднять девочку весом в три пуда – еле-еле хватает сил носить собственный животик.

– Ты бы хоть трусцой бегал по утрам, – предложил ему Константин Сергеевич.

Борька – ожиревший взрослый ребёнок – лишь похохатывал.

– Спихватишься – сердечко начнёт прихватывать, поздно будет, – стращал Константин Сергеевич сына.

– На мой век здоровья хватит.

Ан не хватило. За сорок недавно перевалило, а он уже лет пять с валидолом и нитроглицерином не расстаётся. И жалко дурака и злость берёт. И самого себя винит

Константин Сергеевич: вместе с женой проморгали сына, позволили деду с бабкой выхолить неженку и лодыря. Теперь с опозданием чешет свой затылок и к внуку Димке приглядывается: не пошёл бы и тот в отца. Уговаривал отпустить его хоть на одно лето в экспедицию, чтобы парень понюхал, чем деньги пахнут – потом, а не парфюмерией, не дешевым вином «Изабелла», каким эти шпингалеты вместо газировки утоляют жажду из питейных автоматов, установленных по всему курортному побережью. Борька только хихикнул, услышав предложение – посчитал несбыточной фантазией, стариковской причудой. Да и не решал он ничего у себя в семье. Невестка отрезала:

– Это что – добровольно на каторгу?

Вика, озорно сверкнув глазами, сострила:

– В родне хватит одного каторжанина.

Собственно, с этой поры она и стала в шутку величать своего деда добровольцем-каторжанином.

Димка своего мнения не выразил никак. Возможно, Константину Сергеевичу и удалось бы соблазнить внука, не воспротивилась невестка. Она с таким злобным остервенением пресекала любой намёк Константина Сергеевича, как будто он и в самом деле предлагал заковать внука в кандалы и сослать на каторгу. А удайся его план, наверняка Димке понравилось бы. В его-то годы он ещё не потерянный человек, небось самому хочется испытать свои силы, проверить, чего он стоит. Но с невесткой не поспоришь. Властная и крутая досталась Борьке жена, сущий деспот в доме. Все делается по её нраву. Если судить по одному этому примеру, не столь уж много выгоды обществу принесла женская эмансипация. И ведь самое поразительное, что больше всех собственной участью недовольна она сама. И от этой неудовлетворенности её злость только умножается.

Борька смирился с положением мальчика для битья, не спорит, не противоречит, когда жена изливает на него свои обиды. С него как с гуся вода – отмалчивается да ухмыляется тишком, как напроказивший ребёнок. А про себя, похоже, доволен, что не ему решать сложные домашние и семейные вопросы, когда приспичит нужда, – пусть жена и маракует, если уж она узурпировала власть. За Борькой даже права совещательного голоса не оставила.

Димка и Вика в семейных раздорах всегда на стороне отца. Но тайно, молчком, – матери не перечат, отцу сочувствуют, жалеют его и, случается, оберегают: если он в чём-то проштрафится, берут вину на себя. Над ними она так не измывается. Любит их, хотя какой-то странной любовью, сварливой и капризной.

Поначалу подневольное положение сына бесило Константина Сергеевича. В свары он не вступал, переживал молча. После, наедине, отчитывал Борьку:

– Ты хуже бабы! К тебе никакого уважения в семье – ни у неё, ни у детей. Они тебя берегут от неё, как берегли бы комнатную собачонку. Неужели у тебя совсем нет самолюбия?

– А на фига оно мне, – отшутился Борька.

Отдохновение от домашних неурядиц и бурь он находит в компании приятелей, таких же бедолаг полумужиков-полубаб. Занимаются они вполне невинными развлечениями: попивают винцо, пиво, режутся в преферанс, прячась от жён, как озорные школьники от учителей.

От своих горьких мыслей Константину Сергеевичу осталось одно – бежать в прошлое, в воспоминания. Оттуда, из далекого далёка, веяло удивительной складностью жизни. Первые порывы любви, пробуждение чувств были невинны и чисты. Или это ему теперь так видится? По примеру всех стариков он умиляется, вспоминая детство и юность. Помнит, его мать невольно светлела лицом, если речь заходила о поре её молодости. А ведь была война, революция, разруха, голод. Пятнадцати лет пошла в прислуги. Извела все прелести: унижение, косые взгляды хозяйки, тайные приставания хозяина и его великовозрастного дубины сына, похотливостью не уступающего своему благообразному папаше; было и свирепое, неправоное обвинение хозяйки, проведавшей о тайных ухаживаниях мужа и сына и, вопреки истине, обвинившей прислугу в намерении совратить их; и разные другие мытарства, выпавшие на её долю, – всё забывалось, когда на неё вдруг

нахлынут воспоминания. Не потому ли она так держалась за старые названия иркутских улиц, что связывала с ними своё прошлое. Новые названия перечёркивали его, отнимали у неё детство и юность...

Костя не осмелился подойти к Зое, заговорить. Исподтишка наблюдал за ней, ждал окончания вечера. Он решил проводить её домой. Расходились не поздно, в десятом часу, но посреди зимы в эту пору предместье уже погружалось в ночь: окна закрывали на ставни, калитки запирали на засовы, дворовых кобелей спускали с цепи. Освещения на улицах не было, разве что пробьётся кой-где лезвие света сквозь щель в ставне. Да ещё звезды помигивали в вышине, если небо было ясным.

Дорога, которой должна идти Зоя, ему известна: Учительским переулком, через замёрзшую Сарафанку и дальше по Каштаковской. Жила она подле старой школы, рядом с Летвинцевской церковью.

Он раньше всех оделся и выскользнул из школы. Днём было не сильно холодно, но к вечеру подморозило, снег хрустел под ногами, прихватывало щёки, щипало за нос. Это было привычно. Хуже, что от него не отставал Кеша Кудрявцев. Открыть ему правду преждевременно: Костя не знал, станет ли он дружить с Зойкой, как она предлагает. Но и обманывать своего закадычного

друга тоже неблагородно. Пожалуй, это был первый случай, когда Косте пришлось прибегнуть ко лжи в отношениях с Кешей.

– Пока, – он с нарочитой торопливостью сунул приятелю руку. – Я ещё полчаса назад должен был дома появиться – мать наказывала в аптеку сходить.

Избегая расспросов, пустился бежать. Пришлось сделать крюк – обогнуть вокруг школы и вокруг церкви.

Всходил месяц, освещая затихшие улочки предместья. На правой стороне Учительского переулка вдоль заборов было тенисто, левую сторону озарило луной, светящейся синевой мерцали сугробы вдоль обочины и пласты снега, свисающего с кровель домов. Сказочный мир дополняли голоса сторожевых псов, растревоженных шумной ватагой школьников, ненадолго заплонивших улочки и переулки окраины.

Как только Зоя появится, он подойдёт к ней. Она сделает вид, что не узнала, поддельно испугается, с наигранным изумлением воскликнет:

«Костя, тебя каким ветром?»

«Хорошеньких девочек нужно оберегать от рабочедомской шпаны. Моя шпага к вашим услугам».

Примерно такими вычурными словами объяснит он своё намерение проводить её.

Костин план срывался. Он не учёл самого простого: домой Зоя шла не одна. Мамаева орда валила по Учительскому переулку. Костя подневольно очутился в роли передового дозорного. Крадучись вдоль затенённых заборов по правой стороне улочки, он выдерживал дистанцию, чтобы его, даже если и увидят, не смогли узнать. Дворовые кобели остервенело скалились на него из подворотен, благо подозрения это не вызывало, поскольку все окрестности оглашались собачьим лаем.

Понемногу орда таяла, растекалась. Уже на углу Ремесленной улицы разделилась на три группы. Раньше, чем Зоина компания достигла старой водоканалки в конце Учительского переулка, Костя перебежал открытое место. Дощатым мостиком через Сарафанку зимой не пользовались, дорога проходила по льду, минуя его. Каштаковская улица изгибалась вдоль подножия Кладбищенской горы и выводила к Литвинцевской церкви. В лунном свете её стены и купола безмолвно каменели над окраиной, подобно сторожевому замку.

По Каштаковской Зоя шла уже сопровождаемая двумя подружками и Петькой Свищевым, Костиным одноклассником. Где живёт Петька, Косте известно – третий дом направо от угла. Не взбрело бы ему провожать Зойку! Навряд ли, Петька на это не отважится. Вместе с Петькой отстала и одна из девочек. Да ведь это старшая Петькина сестра, вспомнил Костя. Остались двое. По голосу Костя узнал Аньку Найдёнову, Зоину одноклассницу. На ближнем углу Костя свернул в улочку, затаился в тени плетня – и решил пропустить девчат вперёд.

Где живёт Найдёнова, он не знал. Вдруг они вместе будут идти до самого Зойкиного дома? Он ругал себя скверными словами: кретин последний, не условился с Зойкой в школе, что проводит её. Подойти к ней теперь, когда она не одна, у него духу не хватит. На завтра всей школе будет известно.

Девочки расстались как раз на углу проулка, где спрятался Костя.

– Я подожду, пока до угла дойдёшь, – обещала Анька. – Разбойники нападут – кричи, Барбоса спущу с цепи, он тебя в обиду не даст.

За калиткой, возле которой она стояла, гремя цепью, восторженно лаял здоровенный кобель, зачуживший знакомый голос. Теперь, если Костя припустит следом за Зоей, Анька, чего доброго, в самом деле выпустит Барбоса. А уж тот задаст гаму на весь околоток. Костя решил обежать вокруг квартала и на следующем углу перехватить Зою. Благо, крюк получался не длинный, кварталы здесь небольшие.

И хотя Костя нёсся во всю прыть, Зою он не опередил. Она издали увидела подозрительную фигуру, стремящуюся наперерез ей, и тоже припустила рысью. Он настиг её уже возле дворовой ограды. Рукой в вязаной варежке Зоя ухватила за спасительное железное кольцо. Здесь она считала себя в безопасности, а скорей всего, узнала Костю и потому не спешила в калитку.

– Костя... Бушуев? – через паузу выговорила она. Сверкнули глаза, опущенные инеем. – А я гадаю, кто за мной гонится? Куда торопишься?

Косте почудилась озорная усмешка, мелькнувшая на озаренном луной лице. И вот тут он оплошал, растерялся, не придумал ничего лучшего – бухнул:

– В аптеку. Маме нужно лекарство. Пришёл домой – там скорая, – обреченно продолжал он врать, сам готовый провалиться сквозь землю от сознания своей тупости и неловкости.

– А ты не заблудился? – совсем уже откровенно потешалась над ним Зоя. Незлобно добродушно потешилась, вовсе не желая просмеять его и оконфузить, – потешалась по инерции. Да и кто бы на её месте не поступил так же?

– Мне нужно в маратовскую аптеку, которая возле заразных бараков, – продолжал гнуть свою версию Костя. Толком он не знал, есть ли вблизи инфекционной больницы аптека. Но ведь ни в какую другую аптеку через Каштак не по пути.

– Чего же ты стал? А то не успеешь – закроют аптеку, – посочувствовала ему Зоя.

– Да, я пойду, – обречённо пробормотал он, отлично сознавая, что ни единому его слову Зоя не верит.

Ещё немного постояли молча. Зоя по-прежнему не выпускала из руки железного кольца, смотрела на Костю весёлыми сверкающими глазами. И вот тут бы ему рассмеяться, спросить: «В самом деле поверила, что в аптеку бегу?» На худой конец, признаться: «Догнал тебя и растерялся – какую-то ахинею плету».

Но умные мысли пришли ему после, с опозданием.

– Ну, я пошёл, – пробормотал он. Чуть ещё помедлил и спросил: – Это ты написала записку?

– Какую записку? – явно с преувеличенным недоумением спросила Зоя.

– Значит, не ты?

– Да ты хоть объясни толком: какая записка?

– Ну ты... предлагаешь дружить.

– Вот ещё! – возмутилась она. – Тебя разыграли, а ты обрадовался.

– Значит, не ты?

– Нет, конечно. – Зоя открыла калитку, исчезла во дворе.

Костя медленно побрёл назад. За спиной клацнул железный затвор – он обернулся. В темном проёме приоткрытой калитки смутно белело Зоино лицо. Звонко прозвучал озорной голос:

– Костя! А в заразные бараки – туда, через гору, – рукой в варежке указала она на темнеющую в стороне кладбищенскую гору.

Вторично звякнул засов, быстрые шаги прозвучали по заснеженному настилу во дворе. Зоя обила ноги о порожек. Должно быть, изнутри её спросили, потому что Костя услышал:

– Это я, мама, открой.

Неуклюжая попытка в шестом классе завязать первое знакомство с девочкой в воспоминании обрела налёт поэтичности. Сейчас ему не было стыдно за себя, мальчишку. Хотя тогда он буквально сгорал от стыда, назавтра боялся идти в школу. Представлял, как будут над ним смеяться. Зоя, конечно, расскажет своим подружкам, а те растрезвонят всем. Но он напрасно подозревал Зою в намерении просмеять его. Должно быть, она никому не рассказала, как он по-дурацки оконфузился. Больше он не делал попыток завязать с ней дружбу.

Жаль, что на сегодняшней встрече её не будет.

Зое Швыревой не судьба была дожить до старости – погибла осенью сорок второго. Санитарный эшелон, где она служила медсестрой, угодил под бомбёжку. Было ей неполных девятнадцать лет. Из Костиных одноклассниц никто больше не был на фронте. Мальчишек ещё в первую военную зиму замели всех под гребёнку, девчат не призывали. Как случилось, что Зоя Швырева оказалась на фронте, Костя не знал.

Весть о её гибели дошла до него весной сорок третьего. Он в эту пору с тяжёлым ранением надолго попал в госпиталь и завязал оживлённую переписку со школьными друзьями. Разыскать адреса помогла завуч школы Лидия Панфиловна: с ней переписывались многие из её недавних учеников, на все письма она отвечала аккуратно и подробно.

Для Кости это было уже не первое известие о смерти своих друзей, одноклассников и сверстников, которых он знал не по школе. Как-то уже чуточку притупились чувства: смерть воспринималась как нечто привычное – никто от неё не застрахован. Рядом с ним на снегу умирали такие же, как он, девятнадцатилётние. Но известие о Зоиной гибели заставило содрогнуться. Что-то противоестественное, кощунственное было в том, что осколки немецкой бомбы поразили её – такую молодую и красивую.

Другое дело, когда погибают парни. Им не впервой, не в нашем веке придумали люди воевать – тысячелетиями убивали друг друга. Но война всегда была делом мужским. А Зоя... Почему война, почему смерть? Зоя – это сама жизнь, любовь, страсть, нежность... Долгое время он находился под впечатлением горестного известия – не мог смириться, принять. Рушилось что-то очень нужное, важное в его представлениях о миропорядке, о справедливости. Не смог бы он ничего этого выразить словами – осознавал только душой, чувствами.

И сейчас, когда вспоминает Зою, в памяти непременно всплывала госпитальная палата с давно не белеными стенами в потёках и разводах. И вот те дурацкие мрачные разводы, подёрнутые плесенью, неизбежно связывались с Зоиной смертью – то и другое было нелепо и безобразно. И, отмечая эту бессмыслицу, из самых светлых глубин памяти всплывала зимняя ночь, лунные тени на призрачно синем снегу, сонные улочки предместья, кривизной и плетнями вокруг огородов напоминающие деревню. Тяжёлое железное кольцо в налете белой изморози, Зоина рука в вязаной варежке, сжимающая дужку кольца, её лицо в таинственной полутени: глаза, искрящиеся озорным весельем и её чудный голос с наигранным удивлением воскликнувший:

– Бушуев?

Но и эту картину заслоняет другая. Мысленно он видит санитарный эшелон, бегущий по нитке рельсов через необозримую завьюженную степь, сквозь голые перелески. Теплушки мерно раскачиваются, колеса торопливо отстукивают на рельсовых стыках. На нарах, где на подвешенных брезентовых койках, а где и вповалку – раненые. Смерд из смеси запахов хлороформа, йода, гноящихся ран, грязных окровавленных бинтов. Раненые не замечают вони, притерпелись к ней. Словно издали доносятся стоны и ругань соседей...

И вдруг замечаешь, что это не сосед стонет, а ты сам. Осунувшееся, усталое от бессонных ночей лицо сестры склоняется над тобой.

– Потерпи, миленький. Потерпи немного.

Прохладной, исцеляющей ладонью прикоснется к твоему раскаленному лбу, на себя отнимая часть твоей боли. Ненадолго легчало, лейтенант Бушуев начинал осознавать, где

он, пытался улыбнуться сестре. Она, радуясь, что облегчила ему страдания, ответно улыбалась –

бесконечно добрая страдальческая улыбка озаряла такое юное лицо, что Косте становилось стыдно своей слабости. Кого же он истязает стонами?

Чей-то другой зов отрывает сестру, неподалеку раздаётся её усталый, терпеливый призыв:

– Потерпи, миленький. Потерпи чуток – сейчас принесу воды.

В бессильном шепоте, криках, матюгах исходят раненые, и каждому нужно помочь, подать воды, поправить повязку, прикоснуться, погладить – принося минутное облегчение.

Поезд катился по степи, нырял в перелески. Смена ландшафта отзывалась разницей в стуке колёс: посреди частого леса они начинали стучать, как будто внутри вагона, а в степи их стукоток относил встречным ветром.

Внезапный лязг буферов своим грохотом заглушил мат и стоны, какими отзывалась теплушка, будто она стала единым живым существом, связанным общим нервом со всеми, кто прикованно лежал на тряских нарах, и с её дощатыми стенками и стальными колесами. Налёт! Неподалеку, устрашая близостью неизбежного конца, ревёт самолёт, на бреющем полете настигая санитарный эшелон. Грохочут взрывы, по насыпи градом колотят пули. Костя чувствует, как его тело сжалось в комок, состоящий из одних нервов. Вот сейчас – последняя, ослепляющая вспышка, после неё наступит пустота – ничто. Не станет ни боли, ни страха. После, когда опасность минула, Костя поражался своей ненасытной жажде уцелеть, выжить – сохранить боль и страх. А ведь всего лишь минуту назад он готов был призвать смерть, лишь бы унялась боль.

Кто-то из полуходячих дополз до двери.

– Опять заходят, гады! Держись, братва!

И видно, как у самого голова вжимается в плечи, как вся его плоть стремится стать меньше, неузвимей для осколков и пуль.

И вдруг громкое, ликующее:

– А-а, падла, получил! Так тебе, сволочь!

Посреди этого рёва, гама, свиста, взрывов, людской разноголосицы, посреди адовой суматохи, обессиленная, едва стоящая на ногах сестра, позабывшая о том, что осколки и пули опасны и губельны для неё тоже, подает кому-то воду, кого-то умоляет:

– Потерпи, миленький, хороший. Ну потерпи же!

И вот поверх собственной боли вдруг полоснет внезапная жалость к ней, измученной, усталой, всю себя отдавшей им, поймашь её руку, нежную, чуть трепетную, на секунду задержишь в своей, увидишь ее благодарную улыбку.

– Потерпи, миленький, – привычно сорвется у неё.

Сентиментальное поколение...

«Милые вы мои, Димочка, Вика, да упаси вас бог ото всего этого. Пусть в вашей старости не будет таких сентиментальных воспоминаний!»

Где-то, в такой же бомбёжке, под какую Костя попал лишь однажды, погибла Зоя Швырева. Подлинных обстоятельств Зоиной гибели он не знал, и мысленно её предсмертный, последний час представлялся ему в такой же точно теплушке, в какой его самого вывозили с передовой в марте сорок второго.

Даже сейчас, более сорока лет спустя, он все равно подумал: «Хорошо, если убило сразу наповал – не мучилась. Только бы она не мучилась!»

А скольким она облегчила страдания, у скольких сняла боль, взяв её на себя... Сколько пылких, неистовых признаний в любви выслушала она за те немногие недели, проведённые вблизи передовой в санитарном поезде. Одной своей косой могла околдовать половину теплушки. Скольких утешила: «Миленький! Хороший мой! Ну как же можно тебя не любить? Люблю, люблю!»

Раненый забывался в счастливом полубреду.

И это на неё, на Зою, сбрасывали фугаски, по ней лупили из крупнокалиберных пулемётов!..

«Эка, куда меня занесло!» – сам себя одёрнул Константин Сергеевич.

Все эти слова давно уже стали банальными, говорены-переговорены. Столь часто, что у молодых набили оскомину. Их выслушивают только по необходимости в День Победы. Но ведь не уйдёшь от воспоминаний, если они часть твоей жизни. Они для тебя и есть сама суть. Лиши человека воспоминаний, своего прошлого, и жизнь обратится в пустую погремушку.

Но сегодня он дал себе слово не вспоминать про войну. Чего доброго и на встрече – там ведь будут и школьники, старшеклассники теперешние – подмоет заговорить. А после каяться – зачем? Никому не интересно. Молодые вовсе не такой хотят представлять себе войну, – не кровью и болью наполненную, не стонами – одними победными криками и салютами. До салютов надо было ещё дожить.

И в который раз он занялся подсчётами, сколько же из их десятого класса мальчишек побывало на фронте, сколько погибло. Оба девярых слили в один. Довольно-таки приличный полувзвод выстраивался из одних мальчишек на военке. В сентябре сорок первого в школу пришёл новый военрук, недавний сержант, отслуживший действительную на востоке. Прежнего ещё летом призвали в армию. Военрук был немногим старше своих учеников, он, собственно, ничему не мог научить их: почти каждый ещё в девятом, а то и в восьмом сдал нормы на значки «ГТО» и «Ворошиловский стрелок». А нормы тогда засчитывались ещё без формалистики, без приписок, по полному требованию, как полагалось.

Всё своё усердие новый военрук направил на строевую выучку, без устали гоняя их по плацу, а свою неспособность оправдывая привычной испытанной формулой «тяжело в учении, легко в бою». Эти слова повторяют все бездари, забывая, что Суворов проводил обучение осмысленно, на Дунае даже возвёл копию крепости, которую предстояло штурмовать. Позднее Костя сам ходил в командирах, после первого ранения долго служил в запасном полку и знает, как многие командиры суворовский завет превращали в бессмыслицу: добивались, чтобы было не «тяжело в учении», а просто «тяжело» – по-идиотски, до отупения тяжело, без малейшей пользы будущим солдатам. И чем бездарней командир, тем чаще от него услышишь: «Тяжело в учении, легко в бою!» Суворовским заветом прикрывал свою тупость.

Именно такого калибра и был их новый военрук: кроме как маршировать, ничему не мог научить.

Школу перевели в старое здание на Каштаке. Новую, четырехэтажную, ещё в августе заняли под госпиталь. Костя ежедневно ходил мимо неё. Стояла на редкость тёплая осень, в октябре не нужно было топить печи. Из растворенных окон школы, из недавних классных комнат выглядывали забинтованные головы, громоздкие руки, запечатанные в гипс. Косте было стыдно, что он, здоровый парень призывного возраста, как подросток, ходит на уроки, а на него смотрят такие же, как он, но уже побывавшие там. Как большинство сверстников, он ещё не осознавал, насколько изнурительная и долгая предстояла война, и боялся, что она может победно закончиться без его участия.

Учёба не шла на ум. Почему ему не приносят повестку? Большинство Костиных сверстников, из тех, кто не учился в школе, уже призваны. Лучший его друг, Кеша Кудрявцев, с пятого класса неизменный сосед по парте, тоже на фронте. Кешины мать и сестрёнка известий от него не получают, совсем извелись, теряются в догадках. Встречаясь с ними, Костя как мог утешал, сочинял всевозможные небылицы. Они готовы были верить всему, но тревога и страх не сходили с их лиц. Летом, после экзаменов за девятый класс, Кеша подался на заработки в Бодайбо, у него там родственник на золотом прииске, и там Кешу призвали. В Иркутске он был проездом, забежал домой, был у Кости, оставил записку. Костя, по обыкновению, проводил лето на сенокосе.

Наконец Костино терпение истощилось. С одноклассником Васей Киселёвым, тоже из переростков, отправились в военкомат, подали одинаковые заявления:

«Прошу направить меня в действующую армию. Стрелять из винтовки умею хорошо – сдал норму на значок «Ворошиловский стрелок» второй ступени».

Они думали, у них примут заявление и спустя какое-то время их вызовут в военкомат на медицинскую комиссию. Но случилось по-другому: их тут же направили по врачам. Комиссия в те дни работала, наверное, круглосуточно. Во все кабинеты их пропускали вне очереди, как добровольцев. На всю процедуру ушло немногим больше двух часов. А после их вызвали в кабинет военкома, и тот, произнеся немного похвальных слов, вручил им повестки, отпечатанные под копирку на узенькой бумажной полоске: «Такого-то числа (получалось завтра) к 9.00 прибыть в военкомат, имея при себе...» Тут же их без промедления обкорнали под машинку.

Из военкомата пропустили в школу: нужно было застать своих одноклассников, проститься. Последние два урока вела Лидия Панфиловна. В школу они пришли, когда в десятом классе завуч уже начала свой урок.

Надолго запомнилось неожиданное, непривычное состояние, переполнявшее его, когда они с Васей шагали вдоль пустого школьного коридора, слыша за всеми дверьми приглушенный гул и голоса учителей. Они с Васей были уже не школьники, даже встреча с директором ничем не грозила им. Упоительное чувство нежданно обретенной свободы.

Когда они объявились в дверях, класс оживленно загалдел.

– Лидия Панфиловна, можно?

Должно быть, в интонации голоса прозвучало нечто прежде несвойственное Косте – Лидия Панфиловна изумленно вскинула брови.

– Бушуев, Киселёв, вы где были? Пол-урока прошло!

Голос учительницы вверг их в привычное состояние зависимости: оба виновато потупились. Потом, будто по команде, извлекли свои повестки и отдали Лидии Панфиловне.

Она долго, пристально разглядывала их, словно не могла прочесть, что там написано. Класс затих, молчал в ожидании. Лидия Панфиловна отвернулась к доске, судорожно скомкав обе бумажки. А минуту спустя, когда она вновь обернулась к ученикам, её лицо казалось окаменевшим. С трудом выговорила:

– Дети, последнего урока сегодня не будет. Можете...

На большее у нее не хватило воздуха, слёзы душили её. Горячими, цепкими пальцами сграбастала их обоих за остриженные макушки, прижала к груди:

– Мальчики вы мои!

Наспех собрала журнал и почти выбежала из класса. В тишине, которая недолго продержалась после её ухода, разносился дробный стукоток туфель по деревянному полу. Костина мама всю войну была санитаркой в военном госпитале, в бывшей школе, где недавно учился её сын. Спустя два года после войны в разговоре с Костей призналась: она всё время надеялась встретить Костю. Разумеется, среди ходячих, с лёгким ранением.

– С лёгким в такую даль от передовой не увозили, – рассмеялся он.

– А с тяжёлым... С тяжёлым страшно. Я бы не вынесла.

Костя не однажды попадал в госпиталь, но все они находились по ту сторону Урала, а в последний раз, уже в сорок пятом, и вовсе чёрт знает где – почти под Берлином.

Семьей он обзавёлся рано, едва ли не первый из своих одноклассников. Большинство женились после войны, а он свою Наташу встретил осенью сорок третьего. Минными осколками его звездануло под Гомелем, а в госпиталь утартали почти на Урал, в небольшой городишко Можга на полпути между Казанью и Свердловском.

Наташа служила медсестрой. Родом она из Читы, можно сказать, Костина землячка. В госпитале их считали земляками – оба из Сибири. С землячества у них и знакомство завязалось. Наташа была совсем девчушка, на три года моложе Кости. Полгода не прошло, как из дому. Услышала: в такой-то палате появился сибиряк, кинулась к нему, будто к родному. Странно, но факт: за время её службы в госпитале Костя был первым сибиряком. Ранение у него тяжёлое, на койке, не вставая, пролежал два месяца. Потом, верно, быстро пошло на поправку, всё-таки молодой был. Любовь у них была настоящая, крепкая.

После госпиталя вернулся в свою часть. Письма от Наташи приходили чуть ли не ежедневно, и он тоже во всякую свободную минуту писал ей, если были под рукой бумага и карандаш. Случалось, за бумагу жертвовал махорку, которую изредка выдавали на передовой.

Костя тогда был курящим. И чего ему стоило совершить подобный обмен, оценить может лишь тот, кому пришлось настрадаться без курева в окопах.

Их полк бросили в прорыв на Бобруйском направлении, когда он получил от Наташи известие, что скоро её демобилизуют, у них будет ребёнок. Его ребёнок! До этого она не писала, не хотела расстраивать Костю, чтобы он меньше волновался. А теперь уже нельзя было молчать – заранее сообщила ему домашний адрес в Чите.

Вот почему, демобилизовавшись в конце сорок пятого, Костя лишь проездом ненадолго задержался в Иркутске, повидал мать, навестил друзей, тех, кто остался в живых и к этому времени вернулся домой. Звал мать в Читу, но она заупрямилась:

– Хочу умереть на родине.

Но уже в следующем году, приехав в Читу повидать невестку и внука, осталась у них.

– Почую срок – уеду в Иркутск помирать.

Увы смерть подкосила её внезапно. В Чите она прожила немногим больше двух лет. Борьке было всего четыре года, и своей бабки по отцу он не помнит.

А вот интересно, смогла бы внучка Вика быть санитаркой или сестрой, очутись она на месте Зои Швыревой, на месте сотен других девчат, которым в войну выпала доля сестер милосердия. Поднести воды, подать судно, утку, перебинтовать рану – не это он имеет в виду. Хоть тоже нелегкая и малопочётная работа, но требует всего лишь физического напряжения да усилий, чтобы подавить отвращение к нечистотам и смраду. Смогла бы Вика дарить раненым милосердие, какое дарили сёстры и санитарки военной поры, дарили, не требуя ничего взамен, – именно дарили? Вылеченные, спасённые от смерти вспоминают хирургов, благодарят их искусные руки, но многое ли смогли бы одни хирурги со своими скальпелями без исцеляющего женского милосердия?

Константин Сергеевич не без труда представил себе внучку без её джинсового облачения, в скромной и грубой одежде медицинской сестры военного госпиталя. Она бы и в ней осталась красивой. Наверное, сами собой отпали бы её ужимки, откровенная бесстыдность вихляющих бёдер – походка стала бы быстрой и лёгкой. Без сигареты. Впрочем, нет, курить могла и тогда. Многие женщины потому и пристрастились к табаку, чтобы хоть чем-то заглушить неустанную муку – ненадолго никотином притупить изматывающую душевную боль. Но курили не напоказ, не жеманничая, как делают теперешние ресторанные кокетки, – торопливо, часто тайком, ухватывали одну за другой дурманные затяжки.

Вот вопрос, который пришёл вдруг на ум и не отступал: способна ли Вика подарить милосердие? Не любовь к кому-то, а бескорыстное сердечное внимание – женское милосердие, которому нет цены.

Викину жестокость, бесчувственность по отношению к нему, он не забывал. Не забывалось. Простить – простил. Да и как бы он не простил – не хочет же он зла своим внукам.

Глава седьмая

Константин Сергеевич привычным скорым шагом маршрутчика шёл какими-то улочками, давно уже перестав замечать, где он находится и насколько сильно изменился город. И так же безотчетно, в силу привычки много ходить по тайге, он автоматически, без участия мысли, знал, что сейчас он уже завершает круг и скоро приблизится к месту, откуда начал маршрут. И как раз подойдёт время – откроется ресторан. Аппетит разыгрался тоже по выработанной за многие годы системе плотно наесться по утрам, перед выходом из палаток, – ведь, как правило, уходили на весь день. У него сейчас получится не то поздний завтрак, не то ранний обед.

Пора уже было ему сориентироваться поточнее, определиться, куда же его занесло. Рядом находилось здание, в котором легко было узнать цирк, да и афиши подтверждали: так и есть – цирк. Здание новое, для него по крайней мере. Прежний деревянный шатёр стоял возле базара. Его купол громоздился в окружении деревянных ларьков и навесов. Через каждые два-три года тот цирк горел. Обычно дотла. Однажды Костя даже застал на месте пожарища тлеющие головёшки. Выйдя к рынку, он вначале ничего не заметил. Толпилось много народу, так и торговых рядах всегда многолюдно. И вдруг он застыл и недоумении, не сразу сообразив, что же его так поразило. Но тут же и догадался: не стало цирка. Там, где ещё накануне взгляд наткнулся на тесовые скаты купола, была пустота.

Спустя год на месте пепелища возвели новый, но и он простоял недолго. Нынешний каменный проживёт долгую жизнь, пожар ему не страшен, если и сгорят внутренности, так остов всё равно сохранится.

На другой стороне площади, куда его привело. Константин Сергеевич узнал здание центрального телеграфа. Оно строилось в самом начале тридцатых годов. Маленький Костя прибегал смотреть, как возводили его стены, как мужики и бабы в брезентовых фартуках по шатким деревянным подмосткам затаскивали на леса кирпич и раствор. Бушуевы тогда жили неподалеку в доме, где были квартиры для спецов. Позднее Костя бывал внутри выстроенного здания, в его вестибюле помещался газетный киоск. Малыша Костю приманивали иллюстрированные обложки детских журналов «Мурзилка» и «Ёж». Тут же торговали переводными картинками. Родители давали ему мелочь, которой хватало на покупку журнала или на два-три набора переводных картинок. Их была уйма, самых разных.

Зажав в кулаке серебрушки, Костя подолгу простаивал у стекольного прилавка, разглядывая картинки. Самым счастливым для него был именно этот момент, а не когда он уже купит. Случалось, что после испытывал разочарование – ошибся, выбрал не лучшие. Но возвращаться и канючить, чтобы тётя обменяла покупку, не приходило на ум. Совершенно неосознанно он поступал. правильно. Ведь если бы он хоть однажды обменял покупку, после уже никогда не испытывал бы радости. Возможность выбора тем и ценна, что после уже ничего нельзя изменить.

Больше с этой площадью у него вроде бы никаких воспоминаний не связано. Он перевёл взгляд влево, проскользил по окнам безразличного его памяти здания и... Константина Сергеевича будто окунуло в прошлое. Волна воспоминаний окатила его с головой. Да как же он мог позабыть? Старинный каменный особняк! Этаким чудный, сказочный терем, сплошь в красно-жёлтом подзоре, выложенном из кирпича на манер деревянной резьбы. Весь он, как праздничная игрушка, сиял, выделялся в окружении соседних домов.

Сколько сразу воспоминаний нахлынуло! Сладостных и горьких, так или иначе связанных со старинным купеческим особняком.

В тридцать седьмом году его отдали под Дом пионеров.

Видно, ноги сами знали, куда привести Константина Сергеевича.

...Последняя предвоенная зима. На городском школьном вечере для старшеклассников Костя был не один, среди большой компании. Из всего, что происходило на вечере, запечатлелось только выступление директора Дома пионеров, этакое молодежовое черноволосое красавца, наряженного по лучшему образцу тогдашней моды руководящих работников любого ранга – в белые бурки, армейское галифе и китель полувоенного покроя. Директор говорил легко, без бумажки, сдобривая речь уместными, к слову сказанными, шутками и остротами, слушали его

внимательно. Бурки слегка поскрипывали, когда он просаживался по сцене. Стройная, бравая фигура его заставила млеть сердца уже заневестившихся старшеклассниц, их восторженные и пылкие взгляды не таили полугреховных девичьих чувств. Мальчишки, глядя на своих одноклассниц, усмехались по-печорински презрительно и надменно.

Но всё это лишь смутно скользнуло в памяти. Главное происходило потом, когда вечер закончился и они всей гурьбой вывалили на улицу. Их, рабочедомских, набралось не

меньше двадцати человек. Вначале шли небольшими кучками, затерянные посреди других весёлых и говорливых компаний из разных школ. Но постепенно, удаляясь и от центра, они сплотились в одну общую артель. А когда возле металлического завода свернули на Шалашниковскую улицу, остались одни рабочедомские.

Зимняя улица пустынна, не освещена. Шли по проезжей части. Она только в утренние да в вечерние часы бывала запружена конными обозами. В остальное время по ней изредка прокатится одинокая машинёшка или санные подводы. А в этот поздний час кроме них не было ни души. Редкие прохожие жались к домам, избегая встречи с крикливой ордой, невидимками проскальзывали в тени заборов. Костя, когда самому случалось в одиночку возвращаться домой в позднее время, тоже старался пройти незамеченным. Нет-нет да и возобновлялись байки про налётчиков, которые раздевают одиноких путников. Будешь артачиться – оглушат кастетом или гирькой. Особенно поживиться им нечем. Пальтишко на нём изветшало, чуть живо. Денег при себе у Кости редко когда бывало больше одного рубля. Но ведь на лбу у него ничего этого не написано. А даже и будь написано, кто прочтает: чаще всего грабителями становились бывшие второгодники, которые, и дотянув до седьмого класса, читали по складам. Кстати, Вовка Уртай, с которым у Кости в позапрошлую зиму была драка, состоял в одной из шак. Недавно он влип, почему и стало известно. По Уртаю Костя и судил об остальных бандитах.

Сейчас этакой ватагой им не страшно. Налётчики, если они и есть поблизости, сами попрятались. Ни о чём таком Костя тогда не думал: не до этого ему было. Как будто что-то пробудилось в нём. Некая стихийная сила влекла его к Жене Семёновой – хотелось постоянно быть рядом с ней. Влечение было взаимное. И только странная, необъяснимая робость удерживала Костю, чтобы вот сейчас при всех взять Женю под руку, отойти в сторону, безответно выслушать колкие насмешки одноклассниц. Косте казалось, со стороны пока ничего не заметно. Одна Зоя Шзырева подозрительно поглядывала в их сторону, когда Костя вроде бы ненароком оказывался подле Жени. С Зоей они теперь учились в одном классе: из трёх восьмых образовали два девярых. Но какое дело Зое до них: у неё объявился постоянный ухажёр, десятиклассник Вася Филимонов, сумевший отшить от неё остальных. Сейчас он тут же среди общей; компании озорничает и веселится. Нужно держать ухо востро, не то девчата, сговорившись, столкнут тебя в сугроб, забросают пригоршнями снега. В снежки он сейчас при таком холоде не сминается.

Короткая улочка в полтора квартала, ничем не примечательная, упиралась в Кузнечные ряды. Труба Шварцевской бани чёрным обелиском вонзалась в звёздное небо.

У обочин тротуаров искрились суметы, взблескивали накатанные на дороге следы санных полозьев. Нахлобучив на кровли снежные надувы, стили погруженные в зимнюю спячку одноэтажные домишки. В палисадниках коченели нагие тополя. Всё вокруг было полно неброского очарования старинной деревянной провинции, стать мало ценимой тогда.

Свет звёздного неба, отраженный сугробами, падал на Женино лицо, покрывал щёки и лоб меловой бледностью. Мороз инеем опушил ресницы и брови. Среди синих хрустальных обводок бездонно и таинственно мерцали большие, счастливо встревоженные глаза.

Шумной оравой свернули к ушаковскому мосту. Здесь их пути с Женей должны разминуться: ей через мост и налево, ему направо напрямик через застывшую речку. Большинство тоже свернёт на лёд – так ближе. Вдалеке над низкими крышами домишек проглянул остов недействующей церкви.

Слева на фоне кладбищенской горы, почти вровень с нею, несколькими окошками светилась четырехэтажка – рабочедомский небоскреб. В четырехэтажке жила Женя со своей мамой и младшей сестрёнкой. Приблизились к развилке.

– Я провожу тебя, – прошептал Костя.

Женя промолчала.

Когда остальные свернули на лёд, а Костя с Женей вдвоем взойшли на мост, снизу на них обратили внимание.

– Костя! Бушуев! Ты не заблудился? – крикнула Зоя.

Костя не ответил.

– Что твоей маме передать? – смеясь, спросила Таня Доценко, живущая в одном дворе с Костей.

– Привет передай! Горячий привет, – крикнул Костя. На льду рассмеялись. Ему самому показалось, что ответил он остроумно.

– Нельзя так шутить, – укорила его Женя. – Ведь это же мама.

Костя смутился. Женя права, шутка вышла глупая. Мать в эту зиму дважды ложилась в больницу – у неё были осложнения после давней операции.

– Дурак я, – признал он. – Лечиться надо.

– Ты совсем не глупый, тем более не дурак.

– Слава богу. Если ты так считаешь...

– Я не шучу. В нашем классе ты, может быть, самый умный.

– В нашем классе, может быть.

– Только не когда вот так остришь.

– Знаешь, Женя, ты права. Мне... мне не хватает такого, как ты, доброго и справедливого друга. Если бы...

– Ладно. – Женя рассмеялась тихим грудным смехом. – Я не дам тебе зарываться. Только уж изволь, не сердись.

– На тебя?

– На кого же? Ведь мне придётся одергивать тебя. И часто.

Косте хотелось говорить ей самые нежные, самые ласковые слова, каких и в словаре-то нет. И ещё он ясно сознавал, что ему нужно собраться с духом, сказать: «Женя, я люблю тебя!» Всего четыре слова. Но их-то и страшно выдать. Не потому страшно, что боялся получить отказ. Напротив.

«Я тоже люблю тебя», – потупившись, тихо скажет Женя и блеснет мгновенным настороженным взглядом.

Страшно потому, что он ничего не мог вообразить, о чём станет говорить после. Ведь нельзя же будет ёрничать и шутить – каждое произнесённое слово приобретёт значимость. А значимей и главнее слов, чем «Женя, я люблю тебя», ему не приходило на ум.

Четырёхэтажка известна всему предместью. Совсем ещё недавно это было единственное здание в четыре этажа на всю округу. Все-то остальные четырёхэтажные дома в Иркутске можно было пересчитать на пальцах одной руки. Стояла она в ста метрах, отступая от деревянного мостика через Сарафанку, которая здесь поблизости впадала в Ушаковку. Между мостиком и четырёхэтажкой – голый пустырь. Позади кирпичной громады у подножия горы лепились бревенчатые дома, сейчас почти растворившиеся в ночи. На фоне неба означился скат кладбищенской горы. Немного освещённых окон продолговатыми проёмами вырисовывались на чёрном острове высотного дома. Справа немо застыл приземистый мрачный корпус старой пересыльной тюрьмы. Слева от неё по другую сторону улицы одноэтажный караульный барак. Там слышалось оживление: хлопнула дверь, неразборчиво донеслись голоса.

Костя и Женя ступили на бревенчатый мост, погребённый под укатанным снегом. Сейчас их мог видеть разве что скучающий постовой с ближайшей угловой вышки. Да и он способен различить лишь смутные силуэты.

Не доходя примерно сорока шагов до четырёхэтажки, от уличной колеи ответвлялась дорожка, ведущая к дому. Мысленно Костя поклялся сказать приготовленные слова, как только достигнет развилки.

Женю охватило безудержное веселье, она схватила Костю и закружила, без слов мурлыча мотив вальса. Руки у неё сильные, во всяком случае, много сильнее, чем он думал, она водила и направляла его.

– Костя, ты совсем не умеешь танцевать!

– Научусь! Слово даю – научусь.

– Я безумно, безумно люблю танцевать. Хочешь, научу?

– Конечно!

Костя разговаривал, передвигал ноги, а сам думал: вот сейчас они докружатся до развилки, он обхватит её за плечи. Женя затихнет, поймёт, что настала самая важная минута, вопьётся в него своими большими чудными глазами.

Занятый этой мыслью, он не сразу уловил беспокойство, вдруг охватившее Женю. Она остановилась первой, раньше, чем они достигли развилки. Оборвалась музыка – танцевальный напев, который она только что мурлыкала.

– Дальше не ходи – не надо! – В голосе были отчаяние и мольба. Женю охватило беспричинное смятение.

– Но ведь рядом, – запротестовал Костя. – Провожу до двери и уйду.

– Нет, нет! – шёпотом упрашивала Женя. – Нельзя.

– Что с тобой? – Он, будто загипнотизированный ею, тоже перешёл на шёпот.

Женя ладошками уперлась ему в грудь.

– Но что случилось? – недоумевал он.

– Так нужно. Прошу тебя. Очень прошу!

Она явно что-то скрывала от Кости.

– Я дойду одна, здесь не опасно, никто меня не тронет. Не ходи!

Она оторвалась от него и припустила к дому. Костя и растерянности смотрел вслед ей. На мгновение ему почудилась тёмная фигура, метнувшаяся наперерез Жене из-за угла четырехэтажки. Костя напряжился, готовый рвануться на помощь. Но возле каменного дома было тихо, никаких теней не виделось ему больше.

«Померещилось», – решил Костя и медленно, всё время настораживая слух, побрёл в обратную сторону.

Назавтра был выходной. К утру внезапно потеплело, небо заволокло тучами, повалил снег, великолепный, пушистый, какой обычно бывает не в эту пору, а в начале зимы. Мать была на дежурстве. Она по-прежнему прирабатывала, нанимаясь в сиделки к послеоперационным больным. До войны была такая возможность: родственники больного, если им позволяли средства, могли нанимать сиделку. Существовала такса, а иные приплачивали и сверх неё. Костина мама слыла опытной и добросовестной сиделкой, на неё вполне можно было положиться. Костя понимал, что эти сверхурочные нагрузки для неё тяжелы – давно ли она сама нуждалась в больничном уходе. Приработок необходим не ей, она старается ради него, чтобы он и одет был прилично и имел деньги на мелкие расходы. А ему летом стукнет уже восемнадцать. Пора слезать с материнской шеи, зарабатывать самому. То, что он получает в конце лета за работу на сенокосе, – гроши, все они расходуются на него же. Костя подумывал бросить школу, устроиться на постоянную работу, учиться перейти в вечерку. Ближняя вечерняя школа в Маратовском предместье, неподалеку от заводского училища. Работу подыскать там же поблизости, чтобы сразу после смены – на занятия. Кстати, в той вечерке учились двое из недавних одноклассников: парень, так же как Костя, из бедной семьи и девица Нина Котовцева – по другой причине. Она ещё в шестом классе спуталась со взрослыми парнями из уроков и подхватила заразную болезнь. По этой причине её отчислили из школы.

Костя изложил свой план матери. Вопреки его ожиданию, она не только не обрадовалась, но расстроилась и категорически воспротивилась, да так решительно, что Косте пришлось отступить. Условились, что будущим летом на сенокос он наймётся не на детскую работу – управлять конными граблями, а полноправным рабочим. Опыт у него есть, и вымахал он уже жердина стоеросовая, ему теперь по силам любая мужицкая работа. Заработает вдвое больше, чем в прежние годы, денег им хватит протянуть зиму, и матери не потребуется изматывать себя ночными дежурствами.

Лишь позднее Костя раскусил, что мать схитрила: и в будущем она не помышляла отказаться от приработка. Летнего Костиного заработка, даже удвоенного против прежнего, им всё равно не хватит. Ей нужно было только отговорить сына от намерения бросить школу. А ему и самому жаль было расставаться с одноклассниками, переходить в вечерку. Вот если

бы удалось подыскать работу в ночную смену... Косте казалось, что он выдюжит двойную нагрузку – днём учиться, а ночью работать. Ну про всякие там кружки: стрелковый, шахматный, лыжный, про вечерние вылазки на каток, про внеклассное чтение книжек – про всё это придётся забыть. Костя знал лишь одно производство, где есть ночная смена, – металлический завод. Но кому он там нужен без специальности? Наняться в ученики-подсобники – овчинка выделки не стоит. Зарплата ученика не избавит мать от сверхурочной работы.

Долго рассуждать на эту тему не пришлось – в дверь постучали. Пришла соседка с неисправным примусом. У себя дома и во дворе Костя прослыл умельцем по примусам. У этого огнедышащего прибора, в те годы неперемennого предмета обихода, имела обыкновение засоряться форсунка. Прочистить её – операция не сложная, но кропотливая. Ещё два года назад Костиной маме также приходилось отдавать свой примус в починку в мастерскую либо просить соседей. Костя из самолюбия освоил это нехитрое дело. У него скопился набор самодельных иголок для чистки примуса, намного лучше тех, какие продавались в магазине. Главное, что требовалось, – тонкая упругая проволока. Костя, где случайно увидит обрывок шнура, подберёт, проверит, пригодны ли стальные жилы для примусной иголки. Он испробовал сотни проводов и знал, какие годятся, какие не годятся. В их доме издавна заведено за помощью к соседям обращаться запросто. Вот если жильцы направляли Косте знакомых из другой ограды, тогда спрашивали, можно ли, есть ли у него время. Костя никому не отказывал. Отчасти ему было лестно, что его ценят, считают мастером. Сам он в этой работе не видел ничего сложного – при желании каждый освоит.

Он обрадовался заделью. Не осознавая того, Костя всё время избегал вспоминать вчерашнее. Горький осадок не растворялся. Неизвестно, что было сильнее: обида на Женю или досада на свою нерешительность.

А чувства, помимо его воли, помнили всё: Костины плечи – властную и нежную силу Жениных рук, направляющих его, когда они вальсировали на снегу, Костины руки помнили упругую покатость Жениных плеч, чуть вздрогнувших, когда он обхватил их ладонями, Костины глаза видели Женино лицо, обвязанное платком, её сверкающие глаза в морозном обводе инея.

Чутьё подсказывало ему: поспешное Женино бегство вызвано не внезапным капризом – она встревожилась не на шутку.

Кто-то поджидал Женю возле четырехэтажки, и она не хотела, чтобы Костя встретился с тем, неизвестным, может быть, даже оберегала Костю от опасности.

Мучительное состояние терзало его: он не мог ждать, ничего не предпринимая, и в то же время сознавал, что не может ничего предпринять.

Возможно, он и собрался бы пойти к Жене, вывести у неё правду, но к нему нагрянула компания одноклассников резаться в шахматы.

По выходным в непогоду ребята частенько собирались на квартире у Бушуевых. Хотя у них комнатёшка тесная – пришли трое-четверо, уже не повернуться, – зато никто за ними не надзирал, не ворчал, что наделили на полу. Костина мама не препятствовала сборищам, напротив, если была дома, так тут же изыскивала предлог, уходила по своим делам, оставляя мальчишек одних. Она знала всех Костиных друзей, со всеми бывала радушна.

Раньше они сражались в морской бой и в шашки, но с прошлой весны над всеми настольными играми верх взяли шахматы.

Всех заразил Кеша Кудрявцев. В один из выходных он спозаранку примчался к Кеше сильно взбудораженный.

– Костя, я в шахматы научился играть! – выкрикнул с порога.

Накануне он был в Доме пионеров, и там один пацан из одиннадцатой школы показал ему, как ходят шахматные фигуры. Кеша насилу дождался утра.

Они полагали: чтобы играть, достаточно знать, как ходят фигуры. У Кости были шашки и картонная шашечница. Шашечницу не нужно переделывать, а вот обратить пешки в

шахматы не так-то просто, но и с этой задачей они справились в два счёта: в ход помимо шашек пошли старые катушки из-под ниток, наперстки и пуговицы. В несколько минут управились. Матч начали с места в карьер. Бились до полного истребления вражеской армии. Правила игры узнавали постепенно. Вначале слышали, что нужно выигрывать короля и, как террористы, стали охотиться на вражеского монарха, пренебрегая остальными фигурами. Потом узнали, что при нападении на короля нужно объявлять шах и нельзя хватать его с доски, если партнёр не заметил опасности, как они делали.

По-настоящему освоили правила, только когда десятиклассник Митя Божедомских собрал всех желающих научиться игре и устроил первый школьный турнир. Митя по тем временам считался сильным игроком – имел третью категорию.

Игра затянулась дотемна. Лишь когда ребята собрались уходить, Костя почувствовал голод, спохватился, что у него нет даже хлеба. А ему ещё нужно принести из кладовки ведро угля, дров, на ночь протопить печку. Воды в кадушке осталось на дне. Зимой воду носили из Ушаковки, из проруби. Водопроводных колонок в предместье не было.

Перво-наперво сбегал в магазин за хлебом. Остальное можно отложить, а в магазине Костю не будут ждать. Он и без того опоздал: на хлебных полках остались только буханки пеклеванного. Что означало слово «пеклеванный», Костя тогда не знал, но этот хлеб ни он, ни Костина мама не любили. У него не было ни запаха, ни вкуса.

– Суррогат какой-то, – говорила мать.

Пшеничный и ржаной пахли душисто, почти как хлебы домашней выпечки. А пеклеванный – мякина мяжиной, вроде нынешнего хлебозаводского.

Костя на бегу умял изрядный ломоть, сбегал на речку за водой, принёс угля, дров, нащепал лучину для растопки. Делал всё в спешке, как будто у него была цель. А когда всё закончил, в растерянности сел посреди комнаты на табурет. По-доброму теперь следовало затопить печку, к ночи как раз протопится. В комнате совсем выстудило. За окнами весь день насвистывал ветер. Хоть и двойные рамы и заклеены на зиму, а всё равно выдувало. В ветреную погоду у них бывало много холодней, чем даже в самые лютые крещенские морозы. Дом старый, северный угол прогнил, из него сквозило.

Затапливать печь Костя не стал. Ему бы тогда пришлось сидеть дома, ждать, пока протопится. Можно, конечно, попросить соседку присмотреть за печкой, но та непременно заинтересуется, зачем и куда ему потребовалось идти на ночь глядя.

«Протоплю позже, – решил он. – Утром мама вернется – самое тепло будет в квартире».

Ноги без подсказки знали, куда ему нужно. Гончарный переулок короткий, тут мало места даже для игры в лапту. Дальше заснеженный пустырь между церковью и конным обозом. Сверху валил сыпучий мокрый снег, ветер пригоршнями швырял его в лицо. Позёмка создавала прихотливые снежные полосы, наметала сугробы в неожиданных местах. Приходилось перелезать через них, увязая по пояс. Несмотря на ранний вечер, прохожих не встречалось: добрые люди в такую погоду сидели по домам в тепле.

Вся четырехэтажка сверху донизу светилась электрическими огнями – этакий призрачный куб громоздился посреди запурженного тёмного пространства. Раньше Костя не замечал четырехэтажки, даже когда проходил мимо неё, как будто её и не было. Остальные домишки, одноэтажное окружение кирпичного исполина, он помнил и видел каждый дом по отдельности, а четырехэтажка словно бы не существовала для его чувств.

Костя не знал, на каком этаже живут Семёновы. На что он рассчитывал, неизвестно – на случайную встречу. Навряд ли в такую погоду Жене вздумается выйти на прогулку, да ещё в темноте. Знай он, в какой квартире живут Семёновы, пожалуй, и нагрянул бы. Почему-то была уверенность, что дверь ему откроет Женя.

«Костя?» – удивленно, обрадованно вскинет брови. – Не стой на пороге – проходи».

«Вот решил...» – начнёт Костя, не зная, как ему объяснить свой визит.

«Женя, кто там пришёл?» – из комнаты или из кухни спросит Женина мама.

«Это Костя Бушуев, из нашего класса, мама! – крикнет в ответ Женя. – Он ко мне. Ты ко мне? – со смехом тихо спросит у него. – Может, к маме?»

Из кухонной двери в прихожую выглянет младшая Женина сестрёнка, уставится на Костю сквозь круглые очки.

«А что, если она узнает меня?» – холодным потом окатило Костю. Именно она и узнает, самая младшая – она лучше запомнила обидчиков.

«Женя, это же тот самый – белогвардеец!»

У Кости выступила холодная испарина.

Но скорее всего произойдёт иначе. Навряд ли Семёновы занимают отдельную квартиру – живут в коммунальной, с кухней и прихожей, общими для нескольких семей. И совсем не обязательно дверь ему отворит Женя. Ее и отпирать не нужно: в этот час в коммуналках еще не закрываются на крючок...

А между тем хоть и редкие, но были прохожие. Он слышал: в подъезде хлопыстнула дверь, из четырёхэтажки вышли трое, громко разговаривая. Костя разминутся с ними, сделал вид, что торопится, ему нет дела до случайных встречных. Две женщины и парень прошли, не обратив на Костю внимания. Он ещё с полсотни метров прошагал за четырёхэтажку, когда позади вторично бухнула входная дверь. Вышедшие не могли видеть его посреди снежной круговерти. Ни слов, ни голосов он не различил. Ему почудились две фигуры, пошедшие в сторону ушаковского моста. Костя развернулся и быстро настиг их. Шли они медленно. Он намеревался обогнать их: пора и ему возвращаться домой. Не всю же ночь неприкаянно бродить тут.

Костя был уже в пяти шагах от них, когда его вдруг точно кольнуло шилом – так ведь это же Павлик и Женя. И в подтверждение догадки услышал голос Павлика Зяблых:

– Дальше не ходи, а то увидят.

Костя замер.

Провожу до мостика. Кто сейчас увидит?

Больше ему не стало слышно голосов, и сами фигуры размылись, один колкий сыпучий снег кружился в темноте.

Вот оно что! Выходит, вчера Косте не померещилось.

Костя, не помнит от кого, слышал, что Павлик Зяблых устроился подсобным рабочим в токарный цех и живёт в заводском общежитии. Он успешно освоился на работе, ему присвоили разряд и допустили к станку. Павлик на хорошем счету, справляется с заданиями наравне с опытными токарями.

Что ему нужно от Жени? Вывод напрашивался.

Глава восьмая

Пообедав в ресторане, Константин Сергеевич тщетно пытался уснуть: не было у него такой привычки. Даже на курорте он не ложился в послеобеденный час. Дневной сон не признавал за отдых – только расслабляешься после него, делаешься вялым, несобранным. Но сейчас он хотел уснуть, хоть ненадолго. Не получилось.

Зря промаявшись в постели с полчаса, поднялся, стал собираться. Небольшое затруднение возникло: во что одеться? В середине дня грело уже по-летнему, но к вечеру, когда нужно будет возвращаться в гостиницу, похолодает. Пожалел, что не захватил плаща. Нести пальто не хотелось. Раскрыл чемодан, изучая свой дорожный гардероб. Были две свежие рубашки и два галстука. Галстуки так и пролежали на дне нетронутыми, в санатории обходился без них. К галстукам и шляпам у него давняя неприязнь. Он в детстве захватил время, когда эти невинные предметы были объявлены атрибутами буржуизма и мешчанства, с ними боролись, искореняли. Потом им вернули право гражданства, а в первые послевоенные годы так без галстука даже не пускали в ресторан. Однажды у них в Чите произошёл скандал. Швейцар ресторана готов был костью лечь в двери – не пустить геологов. А они только что из самолёта, прилетели с таёжного участка, мало того что без галстуков, так ещё и обуты в кирзовые сапоги и грубые рабочие ботинки. Верно, во всем чистом, опрятном. Швейцар настаивал на галстуках и штиблетах. У бедняги, наверно, подскочило давление после того,

как администратор велел ему пропустить геологов. Отчасти этот случай усугубил ненависть к галстукам «на всю оставшуюся жизнь». А заодно с галстуком возненавидел и шляпу. Полуботинки признал, сапоги носит только в тайге. А в последние годы и от них отказался, предпочитает туристские ботинки – удобней и легче.

Но сегодня был как раз тот случай, когда нужен галстук. Константин Сергеевич извлёк его, прикинул перед зеркалом, как будет смотреться. И вдруг увидел свитер. Отличный темно-синий свитер, совсем мало ношенный, выстиранный незадолго перед отъездом из санатория. Да ведь это выход. Не нужно надевать пальто. Середина мая – вечером в костюме и в свитере в самый раз.

Разрешив сию сложную проблему, он уложил галстук на прежнее место, на дно – и тут под руку ему попал нераспечатанный конверт.

«Совсем склеротиком стал!» – про себя воскликнул он и чертыхнулся.

Письмо, полученное вместе с поздравительной открыткой и Кешиным посланием, он тогда отложил, чтобы прочитать немного погодя, и... позабыл.

А письмо из Лазаревки. Стиснул кулаки, унимая невольную дрожь. На ощупь в конверте лежало что-то помимо письма, упругое – похоже на фотографию. Фотография и есть. Цветная, любительская, с размытыми переходами светотени и цветов. Зелень кустов отдавала сиреневым, чуть ли не фиолетовым оттенком.

На снимке внуки фотографировались в приусадебном саду, посреди свежераспустившейся зелени. Из-за кустов проглядывался угол застекленной веранды и сбоку от неё навес над летней кухней. Димка стоял облокотись на ствол старой хурмы, рядом с ним на легком переносном стуле сидела Вика. Димка отрастил усики, едва приметную тоненькую ниточку. Широкоплечий, мускулистый парень. Лицо простодушно детское, счастливое. Улыбка на губах возникла сама собой. Никакого повода для неё не потребовалось, улыбался просто потому, что он есть, живёт под теплым апрельским солнцем, радуется дуновению морского бриза, дышит полной грудью, от ощущения своего молодого, здорового тела. Такая у него сочная привлекательная улыбка, что невозможно не залюбоваться. В невесткину роду удался Димка – бравый кубанский казак. Разве что чуть только острыми скулами да складкой рта напоминает Костиного отца, каким тот был в молодости, каким Костя видел его лишь на фотографии.

Не без гордости подумалось: «Пульсирует в жилах этого гвардейца наша бушуевская кровь!»

Почти такие же молоденькие пацанята служили у него во взводе в сорок третьем. В дивизию прибыло пополнение двадцать пятого года рождения. Костя сам был всего на два года старше, но смотрел на них как на желторотых мальчишек. Он к этому времени уже побывал на передовой, знал, почём фунт лиха. А для них передовая только придвинулась. Правда, вплотную придвинулась, полк отвели на переформировку всего на три километра, не только артиллерийскую канонаду, пулемётную трескотню слышать. Мальчишечьи лица насторожены, слух обострен, в движениях сказывается внутренняя напряженность.

Попытался представить себе Димку в гимнастёрке, в каске на стриженной голове – не получилось. Чем-то пацаны тех лет были не похожи, отличны от Димки, от его нынешних сверстников – не такие холёные. Лица у всех были худые, заостренные, глаза казались намного заметней, смотрели глубже, пронизательней. А у Димки такой взгляд, будто он всё уже изведal, ничем его не удивишь.

Вика сидела в непривычной для неё позе. Будто надломилось в ней что-то. Не фотографироваться присела на минуту, а отдохнуть. В чертах лица сходство с братом заметное, но и отличие тоже бросалось в глаза. Сказать, что повзрослела со времени, как расстались, было не совсем точно – и повзрослела тоже, но больше было усталости. Душевной усталости. Острой жалостью полоснуло по сердцу Константина Сергеевича.

«Что же с тобой случилось, внученька? Отчего ты так надломилась?»

А красоты, женственности вроде бы прибавилось. Только не той, не первоцветной красоты, какой ещё недавно полнилось все её юное существо, а глубокой, более стойкой красоты

женщины, изведавшей горечь, – некоей более мудрой красоты. В чертах проглянуло новое для неё – душевная мягкость. Вот такая Вика, какой она смотрелась сейчас на снимке, вполне способна стать сестрой милосердия.

Надел очки, чтобы получше разглядеть. В очках увидел: на заднем плане, не в фокусе, а этак размазанно в кадр попадает еще одна фигура – Борька. Видимо, сын чем-то занят. Сидит на скамье, спиной к летнему столу, в одной безрукавке, некрасиво поверх ремня выпятился круглый, на пивных дрожжах отращенный животик. Как говорится, зла на него не хватает. В его-то годы этакую пузень завести.

На обороте Викиной рукой написано:

«Милый наш каторжный деда, внуки твои, трижды перед тобой виноватые, прощения и мира запрашивают и поздравляют тебя с Днём Победы! Твоей, деда, Победы!»

Идти в свою школу можно было либо тем путём, каким когда-то возвращался домой из Дома пионеров по Шалашниковской улочке, а можно через рынок. Первый чуть короче, но времени до начала встречи оставалось ещё много, и он направился к рынку. Расспрашивать дорогу не нужно – помнил. Хорошо, что старые улочки оставили прежними, а не разбарабанили их вширь в угоду автомобилистам. У него душа не лежала к новым современным проспектам, на которых человек обращён в букашку, управляемую светофорами и подземными переходами.

Рынок он не узнал. Издали завидя стеклянную коробку на месте базарной площади, подумал: не заблудился ли? Впрочем, сомнение лишь мелькнуло: не могли же в самом- то деле в центре современного города сохраниться прежние дощатые ларьки и прилавки. В новой стекляшке разместились магазины и ресторан с баром. Названо всё это сооружение, разумеется, торговым комплексом. Так уж повелось: если какое слово войдет в моду, так всем кажется, ему и замены нет. Из старого окружения рынка узнал бывший «первый номер». Ещё в двадцатые годы начали все нумеровать, перенумеровали бани и магазины. Бани в Иркутске все старожилы упорно называли по именам прежних владельцев: Курбатовская, Ивановская, Шварцевская... Их номеров никто и не знал. Пожалуй, за одним только этим магазином упрочилось – первый номер.

«Тысяча мелочей» – прочитал Константин Сергеевич.

«И мои земляки скопировали название у москвичей», – подосадовал он.

Кроме «первого номера» узнал областную библиотеку. Здание было изуродовано ещё в тридцатые годы надстройкой верхних этажей. Странное, нелепое решение добавлять этажи на старые дома. Навряд ли это было экономично. Расчёт основывался только на прочности фундаментов, какие закладывались в прежнее время, на их способности вынести двойную нагрузку.

Выйдя на соседнюю улицу, Константин Сергеевич на первом же встреченном трамвае увидел табличку с указателем маршрута: «Рабочее – рынок». Вот, оказывается, как теперь разрешилась транспортная проблема.

Неожиданно захотел проехать трамваем. Пеши по этой дороге он ходил сотни раз, а на колесах, если не считать тележных, ни разу. Он помнил, что расстояние тут небольшое, а на трамвае, не успел осмотреться, как уже повернули к Ушаковке: справа виден стал бордовый остов Казанской церкви. Слева тянулась унылая стометровая заводская стена из бетона. Впереди по ходу трамвая видимая часть кладбищенской горы застроена: наверху стояли двухэтажные деревянные бараки, правее – кирпичная казарма.

Трамвай миновал стену заводского корпуса, и слева – будто по сердцу ударило – открылась четырёхэтажка. Стоит на прежнем месте. Лупится на Ушаковку продолговатыми окнами и ведать не ведает, как действуют на кого-то её багрово-красные стены. Из доброго прочного кирпича строились дома в старину – здание смотрится как новое, выглядит куда как свежее типовой коробки, стоящей позади.

К утру буря унялась. Растаявшие было накануне ледяные коросты на окне их комнаты засверкали обновлённым узором. На дворе сугробы стали белее, чище, грязные следы на тропинках замело, всё вокруг искрилось и сверкало. Мороз вернулся, как и положено в эту

пору, – только успевай оттирать варежкой нос и щёки. Колючий, цепкий мороз. Под ногами скрипело, так что слышать по всей улице.

Костя любил такую погоду: мороз бодрил, заставлял поживее двигаться. Жаль было только потерянной лыжной вылазки. Если с утра бывало не столь жгуче, он перед уроками бегал на лыжах в сосновый лес за старую каменоломню. Лыжня пересекала засугробленные пади, взбиралась в чистые сосняки на сопках. Было где попотеть и пронестись с ветерком. Но в такую стужу не успеешь добежать до леса, как обморозишься.

Мать с дежурства вернулась уставшая. Что там ни говори, провела бессонную ночь да ещё прошла через весь город. Это ему, Косте, в его годы пробежать лишних четыре-пять километров не составит труда. Привычным взглядом окинула комнату, убедилась, что чисто, прибрано, печь протоплена, пышет жаром, на плите – завтрак, фирменное Костино блюдо – картошка, поджаренная на воде «с добавлением масла», как пишут нынче на рыбных консервах.

– Спасибо, сына.

Костя пожал плечами. Домашнюю работу он давно привык делать, не запускал квартиру, и когда мать подолгу лежала в больнице. Даже соседок удивлял, они за глаза нахваливали Костю. Этой работой он не брезговал, не считал её для себя зазорной. Он куда больше не любил, если в квартире было не прибрано, замусорено. Привычка осталась на всю жизнь, ещё и закрепилась за годы, проведенные в экспедициях. Даже когда Наташа была жива, ему нередко случалось недели и месяцы проводить в отрыве от неё, и он привык обстирывать и обихаживать себя, ничуть не угнетаясь этим. У него и теперь в его холостяцкой квартире всегда чисто, прибрано. Единственное, что его тяготит, так это мытье посуды. Хотя теперь-то, казалось бы, какая тут морока: горячая и холодная вода в кранах постоянно, и кухонная раковина, разделённая на две корытины, удобна, а вот не лежит душа.

Мать завтракать не стала – поела в больнице. Там заведено, что родственники больного приносят еду и на долю ночной сиделки. Но вот то, что она сразу же легла в постель, было не в её обычае.

Полдня до начала уроков прошли, как всегда, разве что Костя чаще поглядывал на ходики – стрелки ползли занудливо.

В двенадцать часов провыла городская сирена. Так называли хриплый басовитый гудок тесовской трубы. Его было слышно далеко в округе. По гудку проверяли часы. Своих наручных тогда ни у кого не было. Наверное, во всей школе у одного только географа были карманные часы. Когда он извлекал их и в его руках щёлкала откидная крышка над циферблатом, это воспринималось как некое таинство. Для остальных учителей время отмерялось дребезжащим звонком в руках школьной сторожихи.

Мать поднялась по гудку, кинула взгляд на ходики.

– Ого! Сирена провыла?

– Только что.

То-то мне приснилось, будто воеет, а я куда-то тороплюсь, опаздываю. А вроде бы никуда не нужно.

Нет, ничего, успокоился Костя, поглядев на мать. Сейчас, когда она отдохнула, вид у неё стал не болезненный. Поди, устала, намучилась за ночь. Мать всегда переживала и расстраивалась, когда с больными, с которыми ей приходилось сидеть, случалось неладное. А бывало, помирали. В такие дни на ней, как говорится, лица не было.

– Доконает меня эта больница. Уйду!

Говорила не ради красного словца, в самом деле хотела уволиться, подыскать другую работу, где не будет мучительных треволнений. Но проходили день-два, боль затихала, мать оставалась при больнице.

Костя извёлся, ожидая часа, когда можно пойти в школу, а подошло время, начал медлить, тянуть, долго укладывал учебники и тетрадки. Даже мать заметила:

– Что это ты сегодня ровно на каторгу собираешься? Случилось что-нибудь?

– Нет, ничего, – успокоил её Костя. Неизвестно было самому, сказал он правду или увильнул. С одной стороны, вроде бы и в самом деле ничего не произошло, а с другой – произошло нечто, может быть самое значительное для него за все школьные годы.

Мороз и не думал идти на убыль, напротив, входил в раж, и солнце ему только способствовало – холодное, ледяное, оно светило на запурженные, заново побеленные предместные улочки и кровли домов. Всё вокруг сверкало и жгло. Костя считал постыдным опустить уши у шапки – всего-то две минуты ходу до школы. Но даже дух заняло, пока добежал. Нос, казалось, вот-вот отвалится.

В школе всё было по-старому. Да и что могло измениться за двое суток? Но Косте представлялось, должно измениться.

Он был в числе немногих опоздавших. Вприбежку промчался по коридору в раздевалку, одним махом взлетел на третий этаж. В класс ворвался, когда все уже сидели за партами в ожидании учителя.

Едва он появился в двери, Женя точно рванулась ему навстречу, но Костя сделал вид, что не заметил, что он озабочен одним – поскорее занять своё место.

Первый урок просидел как на иголках. Кеша ни о чём не спрашивал его, но видно было, замечает Костину нервозность. И ещё Косте было ясно как день, что Зоя Швырева тоже догадывается. Она сидела в одном ряду с Женей, позади на две парты, – чтобы увидеть Костю, ей приходилось оглядываться через плечо. Её и это не смущало.

Костя старался не смотреть на Женю, но глаза сами обращались туда – мгновенно схватывали склоненную над партой голову, косу, откинутую на левое плечо. Один раз Женя обернулась, их взгляды встретились – улыбка осветила Женино лицо. Костя был ошарашен: она улыбалась ему, словно ничего не произошло. И до него только теперь дошло: Женя не подозревает, что он видел её накануне вечером с Павликом. Но всё равно, как она может улыбаться и радоваться встрече с Костей, если... Неужели это и есть то самое, известное ему только по книгам, женское коварство?

Если у неё есть хоть тень ответного чувства к Павлику, как она смеет улыбаться Косте? Тут было что-то непредставимое. Любая другая девочка из их класса, куда ни шло. Только не Женя.

Звонок, известивший окончание первого урока, заставил Костю вздрогнуть.

– Костя, ты позавчера дорогу домой нашёл? – коварным вопросом усугубила его положение Зоя Швырева.

Костя зыркнул на неё.

– Ой! Боюсь, задушишь меня, как мавр Дездемону, – рассмеялась Зоя и убежала в коридор, делая вид, что испугалась Костю.

– Здравствуй, Костя, – первой подошла к нему Женя. Её улыбка была безмятежной, невинной.

– Здравствуй, – буркнул Костя.

– Тебя какая муха укусила? Сейчас же перестань бычиться! Мы с тобой о чём договорились?

Костя оглянулся: поблизости от них не было ни души.

– Позавчера тебя кто ждал возле дома?

Тень тревоги пробежала по Жениному лицу.

– Тебе померещилось.

Его же словом и сказала.

– Не померещилось. Сама знаешь: не померещилось!

Обида и боль сверкнули в Жениных глазах. Отбросила за спину косу. Непривычная жесткость появилась в её улыбке. *

– Как знаешь.

Костя думал, никто не обратил внимания на их размолвку. Не тут-то было.

– Не вешай носа, Костя, – ободрила его Зоя, когда он вышел в коридор. – Милые бранятся, только тешатся.

Всё-то она успевает заметить.

Он думал: с Женей у них порвано. Навсегда. На переменах они не подходили друг к другу, не разговаривали. Так длилось до последней перемены. Женя будто невзначай столкнулась с Костей в дверях, сунула ему в руку записку. Уединившись, он прочитал: «Костя, останься после уроков. Нужно поговорить».

Женя была уже в конце коридора, мимо неё туда и сюда сновали девчата и парни, но Костя видел одну её. Чёрные, за ползими ещё не сильно стоптанные валенки делали её походку сдержанно мягкой. Добрые, неподшитые валенки были тогда предметом зависти. Даже и старых, подшитых, никому не приходило в голову стесняться обуть. На Жениных ногах валенки смотрелись подобно царским черевичкам. Вообще за прошедший год Женя как-то вдруг преобразилась. Из нескладной угловатой девочки, какой Костя впервые увидел её в черемуховой аллее, обернулась в девушку, вдруг изменившую и походку и жесты, всё случилось само собой, без малейшего усилия с её стороны. И коса, недавно ещё таким обрубком болтавшаяся так и сяк за её спиной, обрела постоянное место на левом плече, стала необходимой. Костя не в силах отвести глаз от Жениной фигуры. От её косы.

Костя понарошку замешкался, собирая учебники. Через минуту класс опустел, остались они с Женей. Он делал вид, что роется в парте. Женя подошла к нему. Одной рукой она придерживала косу, будто взвешивала её.

«Женя, я люблю тебя!» – этих слов он не произнёс, чужой звонкий голос внутри него выкрикнул их, так что кроме Кости никто не мог услышать. Но Женя услышала: темные глаза её вспыхнули, щеки залил румянец.

– Костя, – тихо проговорила она.

– Что? – поддавшись гипнозу, так же тихо спросил он.

– Ты умеешь хранить тайну?

– Тайну? – удивился он. Какая же тайна, если про их отношения знает весь класс: не одна же Зойка Швырева такая проницательная.

– Я бы не спрашивала, если бы это была только моя тайна.

Нет, Женя имела в виду не их отношения, нечто другое собиралась поверить ему.

– Не бойся, не выдам, – сказал он.

– Не за себя боюсь. Мама и сестрёнка... Так нужно, Костя.

– Ну что у тебя? Какая тайна? – Костя был разочарован: не этого он ждал.

– Не злись. Ведь я же... – Женя ненадолго замылась, – Я доверяю тебе. Понимаешь, доверяю!

Косте почудилось, что, когда Женя замылась, подыскивая слова, ей хотелось произнести: «Ведь я же люблю тебя». У неё не хватило решимости сказать их, и она нашла замену.

– Да что я такое говорю, – себя саму осудила Женя. – Если доверяю, значит, верю! Не нужно обещаний. Понимаешь, Павлик...

– Это был он?

– Я и говорю: Павлик... – Женя оглянулась, словно боялась, как бы её не подслушали. – Он приходит к нам по выходным. Всегда вечером, чтобы его не увидели. Он понимает, что маме на работе могут быть неприятности. Ей и так... Ну и за меня тоже беспокоится. Это он так считает – мне тоже могут быть неприятности. Хотя я не боюсь. – Женя торопилась, говорила сбивчиво, но Костя всё понял.

За годы, прожитые под одной крышей, в одной семье – у них ведь была совсем настоящая семья, только что папа с мамой не регистрировались, – Павлик привык к ним, они сдружились. Павлик скучает по ним и тайком навещает. В квартиру ему нельзя из-за соседей. Поэтому Женя с Олей по вечерам выходят из дому, чтобы повидаться с братом. Он на барахолке высмотрел себе мохнатую шапку, обычно не носит её, надевает, только когда идёт проводить сестёр. Если его и увидят издали, так в этой шапке не признают.

– Но позавчера был не выходной, – вспомнил Костя.

– Не выходной, – подтвердила Женя. – Павлик знал, что я буду на вечере, и хотел меня проводить. Он ведь не думал, что нас соберётся такая компания. Он поджидал меня на углу напротив завода. А когда увидел, что валит толпа, шёл впереди нас шагах в ста – поэтому его никто и не видел.

Итак, все загадки и Женины недомолвки разрешились. Понятно, почему Женя захотела избавиться от Кости так внезапно, – увидела Павлика. Не могла же она допустить, чтобы Костино признание услышал и он.

Слова, которых он не успел произнести позавчера, готовы были сорваться с языка, но... отворилась дверь – в класс с ведром воды и шваброй вошла уборщица.

– И здесь сухари сушат, – беззлобно проворчала она. – Как до восьмого-девятого дойдут, начинаются шуры-муры.

– Мы сейчас уйдём, тетя Паша, – заверила её Женя, – Нам переговорить нужно было.

– Знаю я, чем ваши переговоры заканчиваются, – рассмеялась уборщица.

На улице уже смеркалось. Мороз не ослабевал, держался трескучий и злой.

– Я провожу тебя, – сказал Костя.

Окна в домах не везде ещё закрыли на ставни, из них в улицу лился неяркий свет, повсюду стёкла изнутри залепило наростами инея. До мостика через Сарафанку дошли быстро. Стужа свирепствовала, набросилась на них, словно их-то она и поджидала. Женино лицо, закутанное платком, было трогательно милым, ждуще сверкали её большие глаза. Казалось, они сами собой излучали свет.

Едва перешли мостик, Костя сильно обнял Женю за плечи.

– Я люблю тебя, Женя!

Она обрадованно, беззвучно рассмеялась, пытаясь освободиться от его рук.

– У меня синяки будут. Я тоже люблю, но я же не увечу тебя.

– Прости. Тебе больно?

– Я пошутила, Костя. Вовсе я не такая неженка.

До четырехэтажки дошли, плотно прижавшись друг к другу. У подъезда Женя остановилась.

– К нам нельзя: у нас такие соседи... Требуют, чтобы нас выселили.

Он слышал, как приглушенно стучали Женины шаги по каменным ступеням внутри подъезда. Звук этот сладостно тревожил ожиданием нового, ещё неизведанного.

Глава девятая

Трамвай повернул на Ремесленную улицу. На беглый взгляд здесь всё осталось как в довоенные годы. Единственное, что он заметил, когда проехал мимо, – старый хлебный магазинчик преобразился за счёт больших стеклин во всю оконную раму. Прежде таких не было. Но куда больше Константина Сергеевича поразило, что исчезло крыльцо – входная дверь опустилась вровень с почвой. А он хорошо помнит крыльцо в четыре или пять ступенек. В лихую пору, когда за хлебом были очереди, он часами простаивал на тех ступеньках. Запомнились. Исчез бугор на углу Учительского переулочка. Зимой с него малыши катались на санках. Улицу выровняли, когда прокладывали трамвайную линию. Грязь осталась прежняя: такое впечатление, что рельсы настелены прямо в неё – шпал вовсе не видно.

Немногим больше минуты понадобилось трамваю, чтобы пробежать вдоль Ремесленной улочки. На остановке Константин Сергеевич сошёл. Трамвай вильнул по извороту рельсов и укатил дальше на окраину. Константин Сергеевич немного постоял, озираясь, приходя в себя. Томительно сладкое и горестное чувство свидания со своей юностью захватило его. Сознание невозвратности прошедшего было мучительно острым.

Деревянные одноэтажные дома выглядели такими, какими он помнит их с довоенной поры. Иным не меньше ста лет, и простоят они ещё столько, если их не снесут, не заменят панельными коробками. Большею частью дома неказисты, но попадаются и приметные, броско украшенные по карнизу деревянными подзорами.

Кривулина, и в прежнее время соединявшая Ремесленную с главной магистралью предместья, улицей Баррикад, выглядела незнакомо. Старые дома снесены, на их месте двухэтажные полубараки, строенные в первое послевоенное десятилетие.

До центрального входа на стадион оставалось рукой подать. Прошёл немного и увидел ворота. Те же самые или другие, Константин Сергеевич не мог сказать уверенно: он их не помнит. Ему куда лучше были знакомы задворки стадиона. Кажется, так ворота и выглядели. Если их и обновили, то давно. Тогда на долгие годы в архитектуре утвердилась показуха, бутафорная нарядность фасадов и порталов. Не в одном Иркутске. В Москве все павильоны Сельхозвыставки строились в стиле парадной помпезности.

Сейчас ворота стояли заброшенно и выглядели чуждыми для окраинной улицы.

Одноэтажный дом, покрашенный охрой, при закладке стадиона попавший на его территорию, похоже, от времени не постарел: горделиво с высокого фундамента смотрят в ограду его распахнутые окна.

Справа, чуть в глубине, за пределами стадиона, Константин Сергеевич узнал двухэтажный дом, в котором они с матерью прожили восемь предвоенных лет.

Слева за жёлтым домом должна находиться деревянная трибуна и высокая огорода велосипедного трека. Некогда он значился в числе лучших мировых треков – был вымощен лиственничными плахами, плотно пригнанными одна к другой. Ради него в Иркутск на тренировки и состязания съезжались сильнейшие гонщики со всего Союза.

Ни трибуны, ни трека не сохранилось. На их месте в беспорядке набросаны строительные материалы и мусор. По-видимому, старая трибуна сгорела: останки обугленных стояков указывали на это. Но в грунте уже залиты бетонные колодцы под стояки будущих опор. На месте прежнего футбольного поля и трибун собирались возводить новую постройку. Невдалеке человек пять в рабочих спецовках занимались своим делом, не обращая внимания на праздного зеваку, каким должен выглядеть со стороны Константин Сергеевич. От старого парка, от лиственниц и сосен, росших здесь прежде, не осталось и пенёчков. Видно, деревья умерли, их спилили, а новых посадок не делали. Зады стадиона, обращенные к пойме Ушаковки, пустынные. От дощатого заплота, обрамлявшего берег реки, не сохранилось помину. Зато вдоль русла плавным изгибом рос высокий тальник, какого раньше не было. В его прореди видны металлические опоры высоковольтки, протянутой вдоль Цыганского острова. Там же пролегла новая автомагистраль, грузовые машины бежали по ней в обе стороны.

Старинного двухэтажного особняка, некогда загородного ресторана «Северная Пальмира», не сохранилось. Неподалеку от места, где он стоял, был бассейн, открытый в тридцать четвёртом году одновременно со стадионом. Бассейна Константин Сергеевич не рассчитывал застать: его уже перед войной привели в запустение. Началось с того, что окоротили на десять метров, когда прокладывали насыпь для детской железной дороги. Дно заиливалось, а очистных работ не проводили. Заиливались и зарастали также пруды, через которые на стадион поступала проточная вода.

Бассейн был под открытым небом, летний. По тем временам сооружение капитальное. Стенки были упрочены брёвнами и обшиты стругаными досками. Вода поступала самотёком, но не сразу из русла, а через пруд, расчищенный на месте заболоченной старицы. Прежде, до того как вырыли бассейн, пруд был застойным. Черёмуховые кусты склоняли над ним свои ветви, дно зарастало тиной, к концу лета вся поверхность затягивалась зелёной ряской. Когда сооружали бассейн, старый омут расчистили, его верхний край канавкой соединили с Ушаковкой, из нижнего отвели водоток к стадиону. Желоб забрали тесом, сверху перекрыли и закидали реденькой земляной насыпью. Пронырливые пацанята забирались в тоннель, лазали по нему, где впригиб, а где и на карачках. Текущая вода достигала до колен, нижние плахи были склизкими, над головой там и сям торчали незагнутые острия аршинных гвоздей. Кое-где сквозь щели сверху проникал свет. Было жутко, таинственно, но мальчишек неудержимо влекло в тоннель. Костя и Кеша однажды прошли вдоль всего водотока, начав путь из пруда, и очутились в бассейне.

Многие из рабочедомских огольцов здесь и обучились плавать. День, когда Костя впервые переплыл бассейн, запомнился навсегда. С одного борта до другого было всего десять

метров, но Косте они представлялись Атлантическим океаном. Да он и чувствовал себя так, будто переплыл через океан.

В мокрых трусах – выжать их не было времени – мчался сообщить о своём подвиге Кеше Кудрявцеву. Оба они были одинаковые пловцы: умели мало-мальски «царапаться» по-собачьи возле бортика. Кеша жил на Писаревской улице, почти у её начала. Пяти минут не ушло, чтобы добежать. Полкан, сидевший на цепи у крыльца, не был преградой для Кости – они давно подружились. Наверное, вид у Кости был дикий: у Кеши сразу округлились глаза, когда он увидел своего приятеля.

– Кеш, я переплыл!

Больше ничего не нужно было объяснять. Минуту спустя оба взапуски неслись в обратную сторону, провожаемые обиженным лаем Полкана: Костя впервые не удосужился поиграть с ним. Мигом перемахнули деревянную загородку, опоясывающую бассейн. Костя, не раздумывая, бултыхнулся в воду. К лесенке на другой стороне грёб изо всех сил. Единым махом вылез за борт, собрался победно вскинуть руки – дескать, смотри, я уже на другом берегу, – но увидал Кешу не на противоположной стороне, а в воде. Кеша плыл, как плавают все начинающие, плотно зажав рот, и пучил на Костю безумно счастливые глаза.

К концу лета они могли уже переплыть бассейн не только поперёк, но и в длину, и научились плавать по-морскому, на пасаженках, на спине... Таких понятий, как брасс и кроль, тогда не слышали; тренеров и инструкторов по плаванию не было – учились друг у дружки. По меркам того времени плавали они хорошо. Косте наука сгодилась. В сорок четвёртом пришлось переплывать Березину во всём обмундировании, в сапогах, да ещё держа в одной руке автомат над водой.

А вот и остаток аллеи, уцелевшей от прежней поры. Всего полтора куста, и те с обломленными ветками, наполовину погребённые в гряде строительной щебёнки. Видно, и здесь тоже собирались что-то соорудить: на площадке как попало свалены кирпичи, бетонные плиты и стояки, половина из которых побиты при разгрузке.

Ветви погубленного куста пытаются зазеленеть и расцвести – вот-вот распустятся пахучие белые лепестки. Не ведает деревце, что обречено. Отцвести отцветёт свою последнюю весну, но плодоносить ему не дадут. Вырвут его с корнём, когда пригонят землеройку копать котлован под фундамент. Черемуховым веткам суждено засохнуть посреди земляного и мусорного отвала.

А было время, куст стоял в одном ряду с другими, образуя аллею. Справа к ней примыкал пустырь – Собачье поле.

С аллеей связаны особые воспоминания, к ним Константин Сергеевич весь день сегодня и подбирался.

На исходе была весна сорок первого, пора экзаменов. Дни установились жаркими совсем по-летнему, но вода в Ушаковке ещё ледяная, под береговой кручей там и сям сохранились остатки зимней наледи, захороненные в мусоре. Вовсю цвела черемуха, удушающий терпкий аромат витал над стадионом, над пустырём.

С началом весенних экзаменов стихийно открывался футбольный сезон на Собачьем поле. Позже, в летних состязаниях, Костя не участвовал. Кеша тоже на всё лето уезжал из города – ему нужно было работать, вносить в семейный бюджет посильную лепту. Возможно, поэтому оба они были не ахти какими футболистами даже по меркам дворовых команд. Пожалуй, из всей рабочедомской братии один Витька Корняков чего-то стоил на поле: и обвести мог, и дать хороший пас, и пробить по воротам. Войну он прослужил на востоке, ранен не был и после службы остался на сверхсрочную – играл за хабаровских армейцев. Остальные пацаны из их школы ничем не прославили отечественный футбол, а они, Кеша и Костя, меньше других. Но играть любили, за мячом гонялись самозабвенно. Весной им надо было успеть наиграться на всё лето.

В дни, отведённые на подготовку к экзаменам, Костя с утра брал учебник, отправлялся в аллею, пограничную с Собачьим полем. Намерения у него были серьезные: кое-что следовало повторить, освежить в памяти. Давал себе зарок: до двенадцати, пока не провост

сирена, никакого футбола. Но уже в десятом часу над стадионом разносился первый удар по мячу. У дальних ворот появлялись двое-трое, начинали перепасовку, отрабатывали пенальти. Ворота были сквозные, без сетки, так что лупили по очереди с обеих сторон. В утренней тишине удары разносились зазывно.

Костя выдерживал попытку не больше пяти минут. У него был тайник в корневище старой лиственницы, туда он прятал учебник.

Футбольные команды складывались стихийно. Первые, вышедшие на игру, делились поровну с обоюдного согласия, а новички вступали парами, как при игре в лапту. В первые минуты нужно было хорошенько разобраться и запомнить, кто в какой команде.

Обогнать на коротком отрезке Костя мог чуть ли не каждого. Теперь сказали бы, что у него хорошая стартовая скорость, тогда никто из них этих слов не слышал. Бегать-то он бегал быстро, но ни обвести, ни отдать паса, ни ударить в ворота у него не получалось. Правда, и остальные играли немногим лучше. На последнем счету были Игорь Посадников и Ваня Криволапый. Оба они учились на класс старше. Костя так никогда и не поинтересовался узнать, была ли у Вани фамилия Криволапый или прозвище. На Криволапый он отзывался без обиды. Его чаще так и окликали, а не по имени. Что Игорь, что Ваня порядочные увальни, поэтому их никогда не допускали в одну команду. Если кто-то из них уже играл, а другой появлялся, то не было даже и разговору, в какую команду ему вступить.

– Хватит нам одного Криволапого!

И противная сторона не спорила.

Оба они добровольно избрали роли защитников. Тогда предпочитали слово бек, а не защитник. Их действия были просты и прямолинейны – отбивать мяч как можно дальше от своих ворот, не важно кому он достанется. Другого от них и не требовали. Если не удавалось пнуть по мячу, не за грех считалось свалить соперника подножкой, придержать руками. Судейства не было. Конфликты разрешались на месте. Обиженный в горячах мог и зуботычину дать. Это бывало редко, чаще дело исчерпывалось короткой перебранкой: мяч катился уже в другом конце поля, некогда было выяснять отношения. Игра шла сумбурно, бестолково, но увлекательно. Болельщиков было немного. Кстати, тогда слово болельщик не обрело ещё права гражданства, на него то и дело ополчались приверженцы строгих норм литературного языка. Их усилия остались напрасными, слово вошло в обиход.

Болельщиков было немного. Зато какие болельщики! Точнее, болельщицы. С учебниками и конспектами в руках они паслись тут же неподалеку, в черемуховой аллее. Их и не видать за кустами, но как же они влияли на ход борьбы, на поведение игроков. Кому не хотелось отличиться – вколотить мяч под перекладину и задохнуться от радостного вопля:

– Го-о-ол!!

Увы, о таком подвиге Костя мог только презирать.

...Мяч катился на край поля, ближе к черемуховой аллее. Наперерез спешил Ваня Криволапый. Он не бежал, а как-то по-особому, напоминая циркового медведя, быстро перебирал своими вывернутыми ступнями. Костя легко опередил его. Ваня стал перед Костей, расшиперив ноги и раскинув руки, готовый, если потребуется, удержать мяч по-вратарски. Будь на Костином месте Витька Корняков, он обошёл бы Ваню так, что тот бы и глазом не моргнул. Но у Кости финты не получались. Витька Корняков на другом краю баззал:

– Мне пасуй!

Пас, может быть, и получился бы, но на этот раз у Кости разыгралось самолюбие: захотелось самому отличиться.

В удар он вложил всю силу, едва ногу не выставил. По замыслу мяч должен был пролететь над головой Криволапого и угадать в левую девятку – ни одному голкиперу не взять. Однако от Костиной ноги футбольный мяч точнехонько врезался Ване в лицо. Тот очумело моргал, ощупывал голову и лицо.

– Дохлый сапожник! – обругал Костю Витька Корняков. – Не мог пасануть?

Криволапый медленно приходил в себя. Всеобщий смех помог ему обрести чувства. Обидно было, что случилось это на виду у девочек. Ваня решил, что Костя таким способом отомстил ему за недавнюю подножку.

– У-у! – процедил он, сжимая кулаки. – Вот двину.

До драки не дошло. Косте стало не до Вани. Под раскидистой черемухой, где толпились девочки из их класса, невесть откуда взялся Павлик Зяблых. Вначале Костя даже не поверил своим глазам: с тех пор как Павлик ушёл на завод, он не показывался в Рабочем. Не только по очкам узнал его Костя. Павлик как был замухрышка, так и остался, чуть разве стал пошире в плечах. А возможно, широкоплечим делала его полосатая майка – она придавала ему внешность крепыша. Павлик и Женя уединились, отошли в сторону.

На мгновение Костя отвлёкся от них: в ноги ему прикатился футбольный мяч, он саданул по нему не глядя, на манер Вани Криволапого. Вторично заслужил от Витьки Корнякова:

– Сапожник! Кому пасовал?

Когда Костя обернулся, Женя и Павлик исчезли. Он машинально ещё погнался за мячом, совершенно утратив интерес к игре.

Жени нигде не было: ни в черемуховой аллее, ни в соседних кустах акации. Недоброе предчувствие овладело Костей. Павлик приходил неспроста. Где искать Женю, неизвестно. Наверяд ли они отправились в четырехэтажку: Павлику нельзя там появляться.

Чувство, терзавшее его, было новым, незнакомым Косте. Он догадывался: это и есть ревность. Та самая ревность, которую любят просмеивать юмористы. Косте не было смешно, но он сознавал, что способен на безрассудство, и это может сделать его смешным. Вначале нужно поесть: позавтракал Костя рано и успел изрядно промяться.

Матери он не застал дома и обрадовался. Она бы по Костиному виду догадалась, что с ним творится неладное. Ключ, как у них было заведено, лежал в щели над дверной притолокой. На плите стояла кастрюля с остывшим супом. Мать уже пообедала, осталась Костина доля. Тарелку он не стал пачкать, хотя мать нарочно на виду поставила чистую. Она тщетно хотела изжить его дурную привычку есть из кастрюли и со сковороды, когда он хозяйничал в доме один. Старания остались втуне: он, и дожив до седых волос, не изменил той привычке. Кастрюлю так и так мыть, зачем же ещё пачкать тарелку?

Пустая комната угнетала. В доме было тихо. Даже муха, бывшая на окне, жужжала нехотя, подавленно, видно окончательно потеряв надежду вырваться на волю, хотя совсем рядом была открыта форточка.

Женя не может поступить коварно. С того самого зимнего вечера, когда они объяснились, Костя открыто, не таясь, ежедневно провожал Женю домой. Была у них любовь или дружба, он не задумывался. И то и другое. С Женей ему было легко и просто, как с мальчишкой. Разговора о любви у них больше не возникало. Даже само слово было заповедным. Однажды, когда Костя произнёс, Женя прохладной на морозе ладошкой закрыла ему рот.

– Не будем пока об этом, Костя. Я верю тебе больше, чем себе. Я тобой заинтересовалась, как увидела. Или нет... Знаешь, когда. Помнишь, мы вместе шли из больницы – ты навещал свою маму. Ты был такой смешной!

– Смешной?

– Нет. Это я не в обиду тебе. И всё было совсем наоборот – я была смешная. Бежала за тобой, как собачонка, еле попевала. Зубы стиснула, сказала себе: не отстану! Я тогда загадала: если не отстану, будем дружить.

Провожая Женю, Костя мимоходом встречался с Олей. Ему казалось, она подозрительно смотрела на него. Видимо, узнала. Он представил, как она скажет сестре:

«С кем ты водишься? Это же тот... белогвардеец!»

Надо было рассказать Жене про случай на стадионе. Костя давно хотел сказать, но... этому препятствовал Павлик. Уже одно то, что он был и Женя изредка виделась с ним, удерживало Костю.

Но его тревога была напрасной.

– Знаешь, что про тебя сказала Оля? – назавтра спросила его Женя.

– Что? – пробормотал он.

Женя удивленно глянула на Костю.

– Она заявила: «Тебя провожает хороший мальчик. Я тебя поздравляю!» Видел бы ты, как я её натискала, наобнимала. Она даже рассердилась: «Ты меня задушишь!»

И после, изредка встречая Олю, Костя уже отчетливо видел, что вовсе не подозрительно, а восторженно светились глазёнки младшей Жениной сестры: ей нравилось, что у Жени объявился такой ухажёр.

И вот сегодня в его отношениях с Женей что-то рухнуло, развалилось. Иначе, как она могла уйти с Павликом, оставив Костю в полном неведении. Мучительном неведении.

Он пытался принудить себя заняться химией. Пробелы у него были, он знал, какие разделы ему следует повторить. Но читать учебник было бессмысленно, взгляд скользил по тексту и формулам, а Костя ровным счётом ничего не воспринимал.

Вдруг из окна с улицы послышался голос, негромко назвавший его по имени. Костя вздрогнул и побледнел. Он слышал: соседка что-то ответила. Скрипнула входная дверь, легкие шаги раздались на половицах в общем коридоре. У Кости перехватило дыхание.

– Да, да! Можно! – вскричал он, как только стукнули в дверь.

На пороге стояла Женя.

Остаток дня они бродили по стадиону. Женя рассказывала. От волнения Костя плохо вникал. У Павлика вышли большие неприятности, его уволили с завода, приписали ему умышленный брак. Ему, как способному и умелому, поручили изготовить важную деталь. Ошибка была допущена в чертеже – Павлик не виноват, но всё свалили на него. Он собрался в Тулун, там живёт его дядя, отцов брат. Он давно зовёт племянника к себе: жить есть где, и обещает устроить на работу в депо. Сам дядя Миша работает машинистом на паровозе. У Павлика другого выхода нет, из общежития его выселили. Женя провожала его на станцию. Она была сильно встревожена, первое время ни о чём другом не могла говорить и думать. Костя ревниво слушал, как она во всех падежах склоняла имя своего названного брата. Грешным делом, он обрадовался исходу: теперь он и по выходным дням вечером будет встречаться с Женей, а не уступать её Павлику. Пройдёт немного времени, и Женя перестанет тосковать. Это она сейчас возбуждена внезапной разлукой.

Черемуховые кусты исходили цветочным ароматом. От запаха можно было угореть. Вот когда очевидным было избыточное неистовство размножения: природа бесчисленно производила семена, которым не суждено стать деревьями. Предзакатное солнце посылало на белые кусты жгучие яркие лучи.

Они бродили по аллее взад и вперёд. Костя не помнит, был ли ещё кто помимо них в парке. Если и был, так Костя не замечал. На Собачьем поле парней и подростков давно не осталось, одна мелкота в сумерках гоняла мяч. Визг и звонкие крики катились от одних ворот к другим. Пацанята так истово визжали, столько страсти вкладывали в игру, будто именно тут, на Собачьем поле, сию минуту решались мировые судьбы.

Вечер был на удивление ласковым, лёгкое дуновение наносило от реки не прохладу, как накануне, а невесть, где накопленное тепло.

О чём они разговаривали? Обо всём. Оба сознавали лишь одно, что им нельзя, невозможно расстаться.

Несколько раз Женя спохватывалась:

– Меня мама потеряет.

– Немного ещё. – Костя взял её за руку, испугавшись, что она в самом деле уйдёт. Ощутил упругость рук. Стало тревожно и радостно от этого открытия. Как будто прежде он не знал, что под ситцевым рукавом её кофточки не деревянные, а живые молодые руки. И вообще, под одеждой плоть, где по незримым жилам струится кровь, столь же горячая, как у него. Пьянящий аромат черемухи вливался в них, заставлял тревожно и неровно дышать. Сердце стучало так, что его удары должны были слышать в соседней аллее.

Женина коса мягко коснулась Костиной руки, тяжёлая, тугая. Женя искоса глянула на его пальцы, осторожно трогающие кончик косы.

– До чего мягкие и шелковистые, – сказал он.

Морока мне с ней – столько времени отнимает. Если бы не Оленька, так и не знаю, что бы сделала: она любит расчёсывать и заплетать. Я сижу, уроки готовлю, она мне косу заплетает. Ей нравится коса.

– Мне тоже.

– Правда? – Женя обрадовалась. – А я уже собиралась остричь.

– Да ты что!

– Тебе серьезно нравится?

– Очень!

– Тогда оставлю, буду и дальше мучиться с ней.

Они стояли посреди пустой затененной аллеи. На фоне чёрного неба обозначались одни переплетения черемуховых веток. Он держал в руках Женину косу. Женя смотрела на его руки, едва белеющие в темноте. Коса отяжеляла ладонь. Было удивительно сознавать, что весь этот пушистый жгут принадлежит Жене, часть её самой. Костя отпустил косу, обнял Женю за плечи. Она слегка напряглась, тело её сделалось ощутимо упругим, налитым.

– Не надо, Костя.

Он сам знал: не надо, не сейчас, не здесь, но оба они не владели собой. Вблизи земли отдавало тленом прошлогодних трав и палых листьев. Молодая трава только начала пробиваться сквозь эту подстилку, была такой же мягкой и нежной, как Женины волосы.

...К четырёхэтажке Костя провожал Женю в крошечной темноте. Темнота наступила вдруг – плотная, непроницаемая, беззвездное небо опустилось на самые крыши, придавило предместье. Вдруг начал завывать ветер. Из устья Ушаковки несло холодом, сразу напомнив, что ещё не лето и климат в Иркутске по-сибирски резко континентальный – может и снег повалить.

Шли молча, непроизвольно прижимаясь друг к другу, греясь теплом своих молодых тел. Неведомое прежде чувство восторга и нежности завладело Костей.

Посреди ночи он пробудился. В печной трубе пронзительно выло, хлопнула форточка, за окном суматошно, встревоженно бились на ветру черемуховые ветви, по стеклу пригоршнями хлестал крупный дождь...

Ощущение полного, невыразимого счастья в его памяти навсегда связалось с весенним ненастьем.

Присутствие постороннего человека, наблюдающего за ним, Константин Сергеевич ощутил вдруг. Шагах в сорока от него, не замеченный ранее, одиноко сидел сухопарый, шуплый старик. Он выбрал неудобное место посреди пустыря, захламленного строительным материалом. Бетонная плита, упавшая поверх кучи щебня, служила ему сиденьем. Её хорошо нагрело солнцем, старик мог не опасаться за свой ишиас.

Человек неотрывно смотрел в сторону Константина Сергеевича. Впрочем, так могло лишь казаться: без очков на таком расстоянии Константин Сергеевич видел плохо. Доставать очки не хотелось. Пусть смотрит, авось не сглазит. Голова у старика совершенно белая, ничем не покрыта, слабый ветерок колышет короткие волосы.

Константин Сергеевич подосадовал на невесту откуда явившегося старика, который нарушил его уединение, отвлёк от воспоминаний.

...Назавтра продолжалось ненастье. Холодный ветер срывал последние лепестки с черёмух. Куст, росший под окном, осыпался, под ним белело, будто выпал снег. Ничего особенного, странного в этом не было, черемуховый цвет всегда осыпается в ненастье, – в конце мая и не такое возможно, – но Костя перемену погоды воспринял, как дурное предзнаменование. Возможно, была и другая причина, почему возникло недоброе предчувствие, но она ускользнула от его внимания. Было нечто тревожащее в Женином поведении, внезапные, безудержные порывы её нежности – только они казались ему естественными: ведь и в её жизни произошло не пустячное событие, ей ещё нужно привыкнуть к новому состоянию.

Экзамены прошли незаметно, от них почти ничего не сохранилось в памяти. И он, и Женя сдали успешно. Даже по химии, которую Костя так и не повторил накануне, у него стояла четвёрка.

Виделись они каждый день, не расставались с утра до ночи. Погода испортилась надолго, стадион стал неудобным для свиданий. Дважды Женя приходила к ним домой. Костиной маме она понравилась.

– Костя, тебя любит девушка, которой ты не заслужил, – полушутя-полусерьёзно сказала она.

Костя особенно оценил её слова, зная, как строго мать отзывалась о молодых девушках, – редкие не вызвали её осуждения: и распущенны, и ведут себя вульгарно, и со старшими непочтительны.

К себе в квартиру Женя не приглашала.

– Соседи нас выжидают, – жаловалась она. – Не знаем, что делать. Мама уже подыскивает, куда переехать. Да разве просто найти квартиру?

Несколько раз, когда Костина мама была на дежурстве, они приходили домой и закрывались в комнате, даже не смущаясь тем, что соседи наверняка догадывались о причине, зачем они закрываются на крючок. В другое время Костя и ночью редко когда запирался.

А вскоре все оборвалось. Накануне Женя была особенно ласкова и нежна. Даже всплакнула без причины. Костя не заподозрил беды – был слеп.

Неведомо как бы сложились их судьбы, если бы в тот давний вечер он был немного повнимательней, почутче. Вся дальнейшая жизнь могла пойти иначе. Но Костя ничего не заподозрил, не вызвал Женю на откровенность.

Назавтра она не появилась. Он ждал её до вечера, не отлучаясь из дому, совсем извёлся. Потом, когда окончательно стемнело, уже в двенадцатом часу, кинулся к четырёхэтажке – безрезультатно бродил вокруг.

Утром снова пустился на розыски. На первом этаже в квартире никого не было, помимо глухой старухи и полоумной девахи, которая на все Костины вопросы глупо хихикала и закрывалась от него рукавом грязной кофты. На втором этаже ему сказали:

– Семёновы? У которой мужика забрали? В аккурат над нами.

Дверь в квартиру была заперта изнутри. Костя постучал. Немолодая женщина в домашнем халате, с неприбранными волосами, но с густо накрашенными губами, открыла ему, став на пороге. В глубине коридора показался мужчина в безрукавной майке, поверх которой перекрещивались подтяжки, держащие галифе из синей диагонали. Женщина неприятным колючим взглядом смерила Костю с головы до ног.

– Нету здесь никаких Семёновых.

Хотела захлопнуть дверь, но Костя не дал. Женщина обернулась, видимо намереваясь позвать на помощь мужчину.

– Сказали: здесь они живут, – настаивал Костя.

– Жили! – отрезала женщина.

– Как жили? – опешил Костя. – А куда переехали?

– Вот уж этим не интересовалась.

Большого он не добился – услышал, как за дверьми лязгнула стальная щеколда.

Выходит, нашли квартиру. Но почему Женя не предупредила? Он бы пришёл помочь. Или переезд и для неё был внезапным?

Костя помчался домой. Ему вообразилось, что Женя у них во дворе, нетерпеливо ждёт Костю, недоумевает, куда он исчез.

Во дворе Жени не было. Костя спросил у соседки:

– Ко мне никто не приходил?

Нет, никто не приходил, никто его не искал, кроме Тани Доценко. Заслышав Костин голос, она тут же прискакала.

– Ой, Костя, а я тебя ищу!

Таня радостно улыбалась и размахивала перед его носом почтовым конвертом.

– Пляши!

Костя вырвал у неё письмо.

– Чумной, – обиделась Таня, – Думала обрадовать.

Костя не слушал, убежал в свою комнату.

Письмо было от Жени.

«Костя, прости меня! Я не могла поступить иначе. Знаю, что я подлая, гадкая, лживая. Я заслужила эти слова, Костя, – я такая. Я ещё хуже! Я не стою тебя. Если можешь, прости меня. Я схожу с ума...»

Сумбурно, бестолково, в каком-то бреде писалось. Почерк у Жени малоразборчивый, с первого захода Костя не всё понял. Недоумевал, в чём Женя винила себя. Лишь перечитав на третий раз, уяснил.

Женя со своей мамой и младшей сестрёнкой уехали в Тулун. Там есть жильё, нашлась подходящая работа для Жениной мамы. Но самое немыслимое было то, что Женя выходит замуж за Павлика. Она обещала ему, ещё раньше, чем они сошлись с Костей. Павлик и Женя не родные брат и сестра, и в том, что они женятся, нет ничего предосудительного. Женя так и написала, употребив эти самые слова «нет ничего предосудительного». «Я запуталась, я обманула вас обоих. Я недостойна тебя. Я подлая, подлая!!» – изливала она свою боль и смятение.

«Павлик очень несчастен, он не сможет без меня. Я убью его, если откажу ему. Я нужна ему».

«А мне? Мне ты тоже нужна!»

Но Женя, словно отвечая на его слова, писала:

«А ты сильный, стойкий. Тебя очень любит другая девочка».

«Мне не нужна другая, мне нужна ты!»

«Ты полюбишь её. Вот увидишь. Костя, милый, забудь и прости меня!!»

Вот и всё. Так нелепо, глупо оборвалась первая Костина любовь. Каким же несчастным он чувствовал себя тогда.

О дальнейшей судьбе Павлика и Жени он узнал лишь в сорок третьем году, когда лежал в госпитале. Сообщила Лидия Панфиловна. Письмо сохранялось у него долго. Собственно о Жене Лидия Панфиловна упомянула попутно, вскользь – извещала Костю о гибели Павлика Зяблых.

Павлик, как только началась война, подал заявление в военкомат. Комиссия забракowała его: мало того что близорук, у него ещё обнаружили врожденный порок сердца. Но Павлик с заключением врачей не смирился, продолжал писать одно заявление за другим и добился своего – его призвали в армию. Погиб он в боях под Москвой. Женя осталась вдовой, получила похоронку. Она, и выйдя за Павлика, сохранила прежнюю фамилию – Семёнова. Особенно Костю поразили такие слова в письме Лидии Панфиловны:

«Женя осталась с ребенком на руках. Мальчик родился, когда Павлика уже убили, – в феврале сорок второго».

Косте, ещё тогда в госпитале, пришло в голову: отцом ребёнка мог быть не Павлик, а он. Сроки совпадали.

Тогда же он пытался разыскать Женю, отправил письма в Тулун, в горсовет и в военкомат. На одно из них пришёл ответ, у него запрашивали полное имя и отчество Семёновой. Отчества Костя не знал. Но не из-за этого он прекратил поиски – Костя как раз тогда и познакомился с Наташей, со своей будущей женой.

В письме Лидии Панфиловны была ещё одна фраза, поначалу незамеченная Костей. Уже много спустя, в который раз перечитывая, чуть ли не наизусть выученные строки, он внезапно споткнулся об неё: «Не суди строго Женю и Павлика, постарайся понять их».

Поразительно, но почему-то эти слова проскальзывали мимо Костиного внимания. Лишь задержавшись на них, он понял: Лидия Панфиловна знала об истинных отношениях между ним и Женей. Никому другому она не написала бы подобных слов.

Он и без наказа учительницы пытался понять, почему Женя поступила столь жестоко и коварно. Задумался ещё в тот день, когда он, сильно разобидев Таню Доценко, выхватил у неё из рук Женино письмо и читал его, запершись в комнате. Он не понимал и не прощал. Случившееся казалось невероятным, невозможным, недопустимым ни по каким меркам. Он беспощадно судил их обоих, прежде всего Женю. Её поступок не укладывался в сознании. О Павлике, о его роли, о его участии в происшедшем Костя не задумывался: ведь решал не Павлик, а Женя. Измена, подлость, коварство – вот далеко не самые хлесткие слова, какими он оценивал её поведение.

Да и тогда в госпитале, впервые обратив внимание на фразу из письма учительницы, Костя не изменил оценки. Разве что чуточку не столь остро переживал обиду: всё-таки для его чувств событие отошло в прошлое, перекрылось другими, ничуть не менее значимыми в его судьбе – в судьбах тысяч его сверстников. Война перекрыла все остальные беды и горести, подровняла их. Но все же, хотя и приглушённые, боль и обида туманили его рассудок, последовать совету Лидии Панфиловны – постараться понять – Костя не был готов.

Почему-то он не мог представить себе Павлика убитым, думал о нем только как о живом.

Лишь спустя многие годы, он сумел оглянуться на прошлое, не терзаясь ревностью. Как бы невольно последовал наказу учительницы: попытался хотя бы для себя объяснить Женин поступок. И вот какое у него составилось представление.

Женя и Павлик, сводные брат и сестра, прожили вместе шесть лет. Сдружились. О возможности иной, любовной близости ни у него, ни у неё не возникало даже мысли. Если бы семья, созданная их родителями, не разрушилась столь внезапно и трагически, так и в дальнейшем все текло бы так, как должно быть, они бы всегда сознавали себя братом и сестрой. Но их разлучили насильно. Павлик остался в полном одиночестве. Тяжелое испытание пришлось на возраст, обычный для первой влюбленности. Оставшись покинутым и отверженным, Павлик тянулся к единственно близким ему людям. Видеть Олю и Женю хотя бы изредка стало потребностью. Без коротких свиданий с ними жизнь для него стала бы совершенно невыносимой. И вот тут-то, помимо родственной привязанности к своим сёстрам, в нём вспыхнуло новое чувство. Сама судьба принудила его задуматься, насколько он вправе питать к Жене любовное влечение. Женя не родная ему – не сестра, поэтому морального препятствия он не видел.

Так или примерно так обстояло с Павликом.

Иначе было с Женей. К названному брату её привязывало дружеское и родственное расположение, возникшее и окрепшее за годы, проведенные бок о бок. Она, конечно, сразу разгадала новое состояние Павлика, уловила в отношениях к ней признаки зарождающейся любви. Вероятно, старалась не подогревать его чувства, удержать его от признания. До поры ей удавалось. Разумеется, она скрывала от Павлика, что любит Костю, что их любовь зашла уже далеко, понимала, как тяжело Павлику услышать это. Со дня на день откладывала серьезный разговор. Ведь вскоре истина всплыла бы сама собой, и Павлику пришлось бы примириться. Но как раз в это время на Павлика обрушился ещё один удар. В полном отчаянии и смятении он кинулся к Жене, ища спасения, может быть в самом деле готовый покончить с собой. Наверное, он по десять раз на дню писал ей из Тулуна. Женя, спасая его, пожертвовала своей и Костиной любовью. Проявила милосердие к своему названному брату. Поняв, объяснив себе причину, Костя, хотя и не сразу, всё же мысленно простил Женю. Вернее, лишил себя права судить её и Павлика. Осудить просто, понять куда как сложнее. После войны он вновь предпринял попытку разыскать Женю. Теперь уже не ради неё – хотел удостовериться, не его ли сына растит Женя. Не может быть, чтобы нельзя было определить, похож он на Павлика или на Костю.

Жениных следов он не разыскал. Тайна осталась на всю жизнь. Беспокойная, тревожащая тайна.

В первые послевоенные годы он всё ждал: вот-вот Женя подаст весть, ей захочется напомнить ему и себе об их прошлом, об их, может быть, погубленном счастье, погубленной любви. Но вести не было. После он рассудил, что Женя никогда не напомнит о себе, потому

не напомним, что побоится разрушить чужую семью. Неизвестно откуда бралась уверенность, но Костя считал, что Жене известно о нём всё, она заинтересованно и неотступно издали следит за ним, радуется его успехам, огорчается неудачам. Не столько её волнует, чего он достиг, кем стал, высоко ли продвинулся по службе, имеет ли отличия и награды, а каков он: честен или способен на подлость. Сколько раз одна только мысль о том, что скажет, что подумает Женя, когда узнает, оберегала его от поступков, за которые ему после пришлось бы краснеть.

Глава десятая

Седоголовый старик, неотступно смотревший в его сторону, всё же заинтриговал Константина Сергеевича, он достал из кармана очки. Они у него универсальные: через нижнюю половину стёкол можно читать, а через верхнюю смотреть вдаль.

Поразительная метаморфоза произошла с его зрением. Обыкновенно без очков все лица, особенно женские, кажутся моложе, чем есть: без очков не видно морщин и других примет времени. Теперь же случилось обратное: надев очки, он понял, что на бетонной плите сидит вовсе не старик. Во всяком случае, не Константину Сергеевичу называть его стариком: скорей всего, они одногодки. Стариком незнакомец выглядел из-за своей болезненной худобы. Тош он был не по нынешнему времени: в массовке фильма из времён войны вполне бы сошёлся на роль узника Бухенвальда или Освенцима. Старомодный тёмносиний пиджак висит на нём, как на огородном пугале. Острижен под довоенный полубокс. Этой стрижке многие из сверстников Константина Сергеевича остались верными до сих пор.

По измождённому лицу проскользнуло подобие улыбки, и сразу же чем-то далёким-далёким брызнуло Константину Сергеевичу из памяти – из довоенного детства. Немного напрячься, и он вспомнит, чья это улыбка.

Незнакомец пошарил позади себя – там оказалась шляпа. Он надел её и поправил с таким выражением, будто смотрелся в зеркало и по нему сверял, хорошо ли надета шляпа. Рядом обнаружилась тросточка, до этого прислонённая к плите. Когда он поднялся, видно стало, что трость он носит не для форса.

Человек направился к месту, где уединился Константин Сергеевич. Левую ногу он волочил и, когда переносил на неё тяжесть тела, сильно опирался на трость – она увязала в податливом грунте. Видимо, ему привычно ходить так, под ноги он не смотрит – только на Константина Сергеевича. Тихая улыбка блуждала на его тонких бескровных губах. Эта улыбка вновь всколыхнула нечто давно и прочно позабытое. Кадры, записанные в памяти, стремительно прокручивались вспять. Константин Сергеевич вскочил на ноги.

– Кеша!

– Костя!

С Кешиного лица будто содрало всё наслоения, оставленные временем, – враз ставшие знакомыми, серые глаза разглядывали Константина Сергеевича, затаённая смешливая улыбка искрилась в них.

– Я тебя только вот узнал, – признался Константин Сергеевич. – Думал... – Он осёкся – чуть было не ляпнул: «Думал, что за старый хрыч на меня уставился». – Думал, кто это? – вслух продолжил он.

– А я тебя вычислил, как в известном анекдоте: ну кто ещё кроме Кости придёт на Собачье поле? И кто заявится на встречу таким модником?

– Модником? – поразился Константин Сергеевич, с невольным вниманием и пристрастием оглядывая своего школьного друга – давно уже не Кешу, а Иннокентия Михайловича.

Да, костюм у него неумовимо старомоден: брюки мешковаты, штанины шире принятого теперь, пиджак двубортный с остроугольными лацканами. Костюм не новый, но вполне ещё приличный, без единого пятнышка и потертости, тщательно отутюжен. Собственно, не столько одежда старомодна, сколько манера держаться.

На Константине Сергеевиче костюм обычный, ничего в нём особо модного нету. Разве что накладные карманы. Ну да такие карманы бывали и в довоенную пору. Не из-за карманов Кеша назвал его модником.

– Ну-ну, – снисходительно усмехнулся Иннокентий Михайлович. – Не оглядывай себя этак. Ты и в школе всегда модно одевался. Считали, мама достаёт по благу в распределителе.

– Кто-кто, а ты знал этот распределитель.

– Ещё бы не знать. Как-то новые штаны о колючку распластал – она так заштопала, сам едва отыскал, где было порвано. Руки у Вики Анатольевны были золотые.

«Вот как! Он даже имя моей мамы помнит. А я только Кешинного отца – дядя Миша. А как звали маму, не уверен, что и тогда знал. Ну да ведь он чаще бывал у нас, чем я у них», – нашёл-таки Константин Сергеевич оправдание себе.

Нехорошая землистая тень набежала на лицо Иннокентия Михайловича, погасила недавнюю улыбку. Заметно, что он силится превозмочь приступ, заставляет себя улыбаться, но при виде его натуженной, изломанной улыбки у Константина Сергеевича пробежали мурашки по спине.

– Ты как себя чувствуешь? Как здоровье? – спросил он, стараясь произнести слова беспечно, не выказать тревоги.

– Ну, не за этим мы встретились, чтобы толковать о болячках, – Иннокентий Михайлович одолел приступ, лицо его посветлело, с губ сошла синева. – Присядем, время есть.

Чуть в стороне навалом лежали ошкуренные бревна. Древесина, ещё не утратившая живой свежести, ласкала глаз смолевой желтизной. К брёвнам они и направились. Константин Сергеевич насильно удерживал себя от желания помочь своему другу – догадывался, этим может обидеть. Нашли место, где на бревне не было смолевых потёков, и сели.

Иннокентий Михайлович искоса долгим взглядом окинул Константина Сергеевича, памятная улыбка затаенно скользнула по его лицу.

– Не пойму, за что она тебя так любила, – сказал он.

– Кто?

– А ты незаметливый был – ничего не видел. Самая красивая девочка из нашей школы – вот кто.

– Зоя... Швырёва?

– Кто же ещё, если самая красивая?

– Ну... если у неё и было увлечение, так ненадолго. В старших классах сколько ребят дрались из-за неё. Так ведь и ты...

– Я тоже был влюблён. Очень. Сильно любил, – признался Иннокентий Михайлович.

– Не только влюблен.

– Мы дружили. Не смейся. – Константин Сергеевич и не думал смеяться. – У нас именно дружба была. Я любил её старомодно, преданно, навсегда. Сейчас такая любовь кажется смешной. А любовь только такая и бывает. Остальное не любовь.

Он разгорячился, отдалённым подобием румянца покрылись его щёки, но видно было – то нездоровый, болезненный румянец. Похоже, что старая с косой и впрямь подкралась ему за спину. А гляди, ему всё неймётся: нашёл о чём говорить?

– Тебе смешно? Думаешь: пора на погост, а он вон о чём вспомнил, – словно угадал его мысли Иннокентий Михайлович и рассмеялся. – Помнишь – в шестом классе было – ты бежал за Зоей после школьного вечера. Ещё меня обманул: мол, домой тороплюсь. А я знал.

– Было, – неожиданно для себя покраснел Константин Сергеевич.

– Думаешь, почему знал? – Иннокентий Михайлович не заметил его смущения. – Я шпионил за вами.

– Шпионил?

– Как говорила покойная мама: стыдно признаться, грех утаить. Было такое. Я за каждым Зоиным шагом, за каждым движением следил – знал, что она к тебе равнодушна, записку тебе отправила. И что было в записке – догадался. Я побежал наперерез вам, по Писаревской. Запалился, но опередил вас и на углу спрятался. Как я тебе завидовал!

– Было чему завидовать! Я же вёл себя как последний идиот.

– Ты был рядом с ней, разговаривал. Я этому завидовал.

– Но ведь потом...

– Потом мы дружили. Не в том смысле, как это слово употребляют подростки, – по-настоящему дружили. Она избрала меня в доверенные. Мучила меня, не подозревая этого: я выслушивал её признания в любви, горячей, страстной любви... к тебе. Но не только в любви, в ненависти тоже. Она и ненавидела тебя так же сильно. Из-за тебя и с другими водилась – чтобы тебе досадить. Только зря: ты ничего не замечал. Я жалел её смертельно и тоже тебя ненавидел. А сейчас жалею о том времени. О своих мучениях жалею. Смешно... Долго молчали. Константин Сергеевич наблюдал за жуком, который полз по бревну, обследуя крохотные водянистые капельки, выступившие из дерева.

– Про Семёнову Женю ничего не знаешь? – спросил он.

– Она после девятого уехала в Тулун, вышла...

– Это я знаю. А после войны где жила? Где теперь?

Иннокентий Михайлович покачал головой.

– Постой, постой, – вдруг спохватился он. – В прошлый раз на такой же встрече кто-то из наших девочек упоминал про неё – видели её.

– Где? – Сердце готово было остановиться.

Не помню. А город называли – уверен, что называли. Я ещё подумал: забралась куда Макар телят не гонял. Значит, дальний город, Норильск или Петропавловск- Камчатский. Про ближний или про город в европейской части я бы так не подумал.

– Что говорили про неё?

Иннокентий Михайлович задумался, исподлобья короткими взглядами посматривая на Константина Сергеевича.

– Вспомнил! – встрепнулся он.

– Ну! – впился в него Константин Сергеевич, на мгновение ощутив себя не шестидесятидвухлетним стариком, а тем прежним Костей из последнего предвоенного месяца.

– Приезжала в Иркутск внуков проводить. У неё здесь дочь замужняя.

– Дочь? – поразился Константин Сергеевич, но сам и одумался: почему у Жени, кроме сына, не могло быть дочери? – Не знаешь: Жени не будет на встрече?

– Наверяд ли. Приглашения рассылали по списку, а Семёновой в списках десятого класса не было. Про меня-то вспоминают, потому что рядом живу.

В списках десятого класса Семёновой не было, – машинально повторил Константин Сергеевич. – К весне сорок второго, к выпускным экзаменам немногие из нас остались в том списке.

На вечере Константин Сергеевич не скучал. Занятно было отыскивать подростковые черты характера и внешности в облике собравшихся пожилых седовласых людей. Под наслоениями четырёх прошедших десятилетий внезапно проглядывало столь знакомое давнее – случайный жест, улыбка перебрасывали память в прошлое. В слезливой миниатюрной старушке вдруг признал Таню Доценко: под её сединами и морщинами отчётливо увиделась хрупкая девочка, жившая в одном дворе с Костей. И точно так же другие узнавали его – под изношенной внешностью различали некогда хорошо знакомого им подростка, сидевшего за школьной партой.

В другом месте он многих не узнал бы, но здесь память концентрировалась, устремлялась в предвоенное время.

К нему подседа Люба Смирнова. Впрочем, давно уже не Люба, а Любовь Николаевна, недавно ещё учительница, годом ранее вышедшая на пенсию – нянчить внуков. Достала платок, приложила к мокрым глазам.

– Что с тобой, Люба?

Костя, ты разве ничего не знаешь? Ведь Кеша... Врачи приговорили его, – озираясь по сторонам, прошептала она. – Ему осталось несколько месяцев.

- Кеша об этом знает, – сказал он.
- Знает. Господи, я бы не вынесла. Вы какие-то железные – те, которые воевали.
- Железо тоже ржавеет. Кеше не подавай виду, не жалеяй его, – предупредил он.
- Дура я, что ли? – обиделась Люба.

Константин Сергеевич оставил ей свой читинский адрес, и они условились, что, когда будет нужно, она известит его телеграммой.

Расходились поздно. Иннокентий Михайлович загодя вызвал такси. Ехать ему было через центр, по пути он подбросил Константина Сергеевича в гостиницу. Вначале настаивал, чтобы тот ночевал у него, но внял доводам своего друга: с утра тому нужно заглянуть в агентство и обделать ещё кой-какие дела – всё в центре, из гостиницы сподручней. Договорились встретиться, как только Константин Сергеевич управится с делами.

– Глянешь, где живу. Шикарная тюрюга. Нет, нет, – предварил он вопрос, – квартира что надо – отличная. Это для меня тюрьма. Сижу в хоромах, как затворник. Обедаешь у меня, иначе обижусь!

Назавтра к двум часам дня Константин Сергеевич освободился. Девятиэтажный дом на Сеньюшиной горе таксист знал, показал на него, как только поднялись на Кайскую гору. Издали строение напоминало игрушечную детскую городьбу.

Кеша ждал его, стоя на балконе третьего этажа, махал рукой, указывая нужный подъезд.

– Вот так на балконе и провожу целые дни, – сказал он, встретив Константина Сергеевича в прихожей. – Не выдумывай, – пресёк он попытку гостя снять обувь. – Не знаю, у кого переняли дурацкий обычай. Не припомню случая, чтобы хоть однажды, приходя к тебе, разувался. У тебя бы глаза полезли на лоб.

– Так мы ведь и не жили в таких хоромах, тебе не приходилось следить по коврам и линолеуму.

– Да пропади он пропадом, этот чертов линолеум. С удовольствием бы содрал его – походил босиком по деревянным половицам, кабы они были.

– Зато полы мыть легче.

Квартира была трёхкомнатная. Из вчерашнего разговора Константин Сергеевич знал, что живут в ней три поколения Кудрявцевых: Иннокентий Михайлович с женой, сын и невестка и двое внуков, близнецов-третьеклассников. Днём Иннокентий Михайлович домовничает по большей части один: жена занята на даче, сын с невесткой на службе, внуки в школе, а вернутся с уроков, тоже дома не засидятся, разве что в ненастье.

– Ваня с Егоркой уже отобедали, отпросились за мороженым сбегать. Скоро придут, глянешь. Имена им дали в ногу с веком – вернулась мода на старые русские. Однако соловья баснями не кормят. Не сочти за обиду – стол накрыл в кухне.

Константин Сергеевич заверил, что не обидится, что у себя дома он тоже гостей принимает на кухне. И даже не извиняется перед ними.

Разговор вёлся хотя и непринужденно, а всё же чуточку скованно: оба не столько чувствовали себя прежними школьными друзьями, сколько старались играть эти роли. Более всего Константина Сергеевича стесняло то, что он знал истинное положение своего друга, знал, что тот одной ногой уже в могиле. В этих обстоятельствах как-то неуместно шутить и притворяться, будто ты прежний мальчишка из седьмого «Б». И вроде бы неприлично было чувствовать себя крепким и здоровым. В компании с больным здоровье выглядит бестактно.

Иннокентий Михайлович вдруг улыбнулся той своей давней улыбкой – безудержно-веселой и простецки-лукавой.

– Представь себе, – сказал он, – было время, этакая квартира была пределом мечтаний. Какой там пределом – далеко за пределами. О такой и не мечтали. Вернулся с войны, я искренне считал, что наша семья жильём обеспечена, лучше и не бывает – свой дом, в нём всего пятеро взрослых и трое пацанят, моих племяншей. А весь-то дом по площади был меньше этой квартиры. Удобства, естественно, во дворе. Впрочем, кому я рассказываю – а то без меня не знаешь.

—М-да, мы тоже не в Шереметевском дворце жили, — усмехнулся Константин Сергеевич. Он ещё не уяснил, к чему клонит Иннокентий Михайлович, но догадывался — речь завёл не ради того, чтобы похвастаться. Подосадовал на себя за банальную остроту, невольно сорвавшуюся с языка.

Не во дворце, — подтвердил Иннокентий Михайлович. — А сейчас у сына с невесткой ещё за городом, можно сказать, тоже дом, не намного меньше, чем прежний наш в Рабочем. Недавно от безделья занялся подсчётами — получается, примерно у каждой четвертой семьи есть дом за городом — дачей зовётся. А у кого нету, либо не хотят обзаводиться, либо им все до лампочки — алкаши. Построить дачу сейчас не проблема. Даже и труда большого не требуется. Мы вон в позапрошлом лето с сыном вдвоём сложили. Вернее, он один. Из меня какой помощник, так только — где поддержать, пособить. Как говорится, дача не хуже, чем у других: печь с камином, мансарда, крыша под шифером... Ну ты видел эти скворечники, представляешь. Самое смешное, что многие теперь одним только и озабочены: построить дачу не хуже, чем у соседа, обзавестись мебелью, автомобилем... Этакое мелочное тщеславие. Причём повальное.

Иннокентий Михайлович говорил это, выставя из холодильника тарелки, на которых была, явно не мужской рукой, приготовлена разнообразная закуска.

— Жена сгношила. Наказала: друга детства прими как положено. Жалела, что не может остаться. А честно говоря... — Он усмехнулся и махнул рукой. — Бог ей судья. Нет, ты не подумай что-нибудь худое. Ревнива до глупости. Представь себе, до сих пор, — рассмеялся он. — Хотя и прежде не было повода. Причины выдумывала. Изобретательно выдумывала. Сбежала на дачу, чтобы не расстраиваться. Начнёте, говорит, свою первую любовь вспоминать — я не вынесу. Я ей как-то сдуру про Зою рассказал, про свою безответную любовь. Так она вздумала меня к ней, к мертвой, ревновать. Не можешь, говорит, свою красавицу позабыть. А что поделаешь — не могу. Да только не в том смысле, как она понимает. И ведь не глупа. Бывает, сама признается: знаю, что дура, а ничего с собой не могу поделать.

Примчались внуки, Ваня и Егорка. Шумливые, возбужденные. Увидав незнакомого, притихли, по-детски скованно поздоровались. Константин Сергеевич заметил, как посветлело лицо их деда, любовью и теплотой засияли глаза. Славные мальчишки. Восхищение невольно удваивалось ещё тем, что их невозможно было отличить друг от друга: оба в одинаковых костюмчиках, рубашках, оба светло-русые. Отдаленно верхней частью лица напомнили ему маленького Кешу, каким тот был более пятидесяти лет назад, когда они только подружились. Точно так же затаённой смешливой энергией вспыхивали у него глаза, и так же ему приходилось насильно сдерживать свои порывистые движения, как будто внутри у него была скручена невидимая пружина. По сверкающим глазёнкам видно было, какими бесенятами могут они проявить себя, дай им только волю, отпусти пружину.

— Деда, там Мишка Ивайловский... Мы под окнами будем.

— Идите, только чтобы...

— Никуда больше! — Это уже с лестничной площадки обещал кто-то из двоих.

Времени дожидаться лифт у них не было — бетонные ступени гудели и дрожали под стремительными ногами бегущих мальчишек.

После них в комнатах и в прихожей как будто остался след их улыбок, их недавнего присутствия. И теперь невольно на всем, что попадало на глаза, Константин Сергеевич замечал следы неукротимой подвижности русоволосых близнецов: оторванный угол линолеума, отщепленную бутафорную под бронзу нашлёпку на столе в гостиной, дырку в неровно наклеенных обоях, чёртика, нарисованного на торце отворенной двери в комнату...

— М-да, — произнёс Иннокентий Михайлович, с довольным видом выслушав восторженный отзыв гостя о своих внуках. — Вот только ради них и хотелось бы ещё пожить годиков этак пять-шесть. Сына и дочь проморгал, так хоть внуков воспитать людьми.

— Вот как, у нас и теперь одинаковые заботы, — признался Константин Сергеевич.

Своих детей проморгали, – чуть иначе повторил свою мысль Иннокентий Михайлович. – Не знаю, удастся ли внуков... У тебя ещё будет время, – окинул Константина Сергеевича взглядом. – Не надо, – выставив ладонь, как бы отгородил себя от возможной реплики гостя. – Говорю не ради того, чтобы поплакаться, – факт как таковой отмечаю: у тебя будет время заняться внуками, а мне не отпущено. Не скажу, чтобы примирился, но и не хнычу – не по-мужски хныкать. Да я ведь и без того уже, считай, сорок лет лишних, подаренных прожил. Любой из нас мог там остаться – чем я лучше Феди Бочкарёва или Пети Мальцева, не говорю уже про Зою Швыреву. Страшно другое – и эти сорок лет не по-умному прожил. Увы, не я один. – Иннокентий Михайлович поднял голову – до этого говорил потупя взгляд – и улыбнулся. – Увы, не я один, – повторил он. – Кабы один, так и не беда, и не отразилось бы ни на чём. Да ты ешь, ешь, – спохватился он. – На меня не смотри.

Подлил коньяку в рюмку гостя, своя так и стояла полная, он даже не пригубил.

– Во всех наших бедах привыкли винить дядю. Свои грехи замалчивали либо не замечали – не хотели замечать. Теперь только спохватились. Ох, не поздно бы! Вот ты сказал: заботы у нас одни; выходит, признаёшь, что детей проморгал.

– Боюсь, и внуков тоже. Мои старше твоих, взрослые уже.

– Ладно. Ну, а чем они тебе не угодили? Моя жена так спрашивает, если заведём разговор с ней на эту тему. Объясни.

– И об этом задумывался. Как бы поточнее выразиться... Тут ведь легко скатиться в этакое стариковское занудство: и музыка у них не та, и танцуют не так, и одеваются парни не по-мужски, а девки не по-женски... Не в этом суть. Это следствие.

– То-то оно и есть – следствие. Мало кто признаёт. Радуюсь, хоть с тобой единомышленники. Цель потеряли – вот где причина. Не они, не наши дети потеряли, мы им не сумели задать её. Сами разменялись на мелочи: погнались за комфортом, за сытостью, за достатком. А зачем они нужны, комфорт, сытость, достаток, – забыли. Их и превратили в цель. Послушаешь, о чём мечтают тридцатилетние, оторопь берёт. О даче, об автомобиле, о гараже, о чешской стенке, о модных тряпках... Даже о пенсии! Мечтать разучились.

Иннокентий Михайлович разгорячился, глаза у него заблестели живым огнём, на щёки набежал румянец. На мгновение Константин Сергеевич усомнился, а так ли уж правы врачи, по словам Любы Смирновой, «приговорившие» его. Не походил он в эту минуту на человека, приговорённого к смерти. И заботы его мучили здешние, земные, почти совпадающие с заботами Константина Сергеевича.

Повторяем: на ошибках учатся. Но как же мы на них научимся, если не признаем их, замалчиваем? Чтобы учиться на ошибках, про них надо знать. Может быть, даже лучше знать, чем про достижения, про победы. Мы и не заметили, как разобзились. Живём вон в каких ульях – в одном этом доме половину рабочедомского предместья можно поселить, – а друг друга не знаем. Да и знать не хотим, норовим каждый наособицу – всё для себя. В войну куда дружнее жили. Зло берёт: неужто бедствие нужно, чтобы объединиться людям.

– В войну сволочей тоже хватало.

– Не спорю. Слишком даже хватало. Да только тогда все они попрытались, сволочным своим счастьем довольствовались втихомолку. Были и тогда, среди всеобщего бедствия и нужды, сытые и одетые, и такие, которые шкуру свою уберегли, – от передовой увертывались разными путями. Но ведь они помалкивали, не хвастались бесчестным благополучием. И те, кто завидовал им – были и такие, – тоже завидовали втихомолку, сознавали, что поступать так подло, мерзко, трусливо. А нынче... Самому приходилось слышать, как семнадцатилетний парень хвастался, что ему незачем корпеть над учебниками: папа у него шишка, слово скажет – сына в любой институт примут. А другой в пику ему, мол, мой предок хоть и не велика шишка, а такую взятку сунет, что его сына ещё охотней примут, институты будут на него конкурс устраивать, а не он проходить по конкурсу. Вот ведь как стало – хвастаются родительской и своей способностью на подлость. И ведь были с ними другие ребята – ни один не одёрнул. Вот где опасность! Оценки сместились. Подлостью возможно стало похвастаться, и этого не замечают. Страшней уже ничего не придумаешь.

Они пообедали, хозяин хотел ещё плеснуть коньяку в рюмку гостю. Константин Сергеевич отказался.

– Выйдем на балкон, – предложил он.

– Чудесно, – с радостью поддержал Иннокентий Михайлович.

Когда вышли, понятно стало почему: площадка,

где резвились дети, сверху хорошо видна. Один из внуков, трудно сказать Ваня или Егорка, катился на велосипеде и махал деду рукой.

– Не куришь? – поинтересовался хозяин.

– Бросил. Давненько, еще задолго до кампании против курения.

– Поди, и по утрам бегаешь?

– Надобности нет. Летом, в полевой сезон, маршрутов хватает, хоть и не хожу в тяжёлые. Но мне теперь и легких по-за глаза. Зимой, верно, на лыжах катаюсь. Не ради здоровья – люблю.

– Помню: у тебя дня не было, чтобы до уроков не сбегал за каменоломню.

На лыжне дышится и свежие мысли приходят. Все, что толкового на карту нанесу или в отчёт впишу, – приходит на лыжне, в движении, а не за столом в кабинете. Ну да что об этом толковать, – отмахнулся он и опять подсадовал на себя: «Занесло на скользкую тему. Каково Кеше слушать про мои спортивные подвиги?»

– Отчего же не об этом? – возразил тот. – Мне про тебя всё интересно. Не разочаровался в профессии?

– С работой мне повезло – скучать некогда было.

– Рад за тебя. В твоём случае можно и трусцой бегать. А вообще, мне нынешняя увлечённость заботой о своем здоровье претит. Я тут с одним стариканом – он лет на пять старше нас – как-то беседовал. Он расхвастался здоровьем – бегают по утрам. Спрашиваю: зачем тебе здоровье? Что собираешься сделать ещё в жизни? Вылупил на меня зенки – не понимает вопроса. Ему здоровье нужно, чтобы на толчок ходить без клизмы и побольше прожить. Сейчас столько разговоров про рациональное питание, про бег трусцой, про аэробику... Какой-то массовый разврат. Беречь здоровье, чтобы жить просто так, без цели... Идиотизм!

Немного помолчали, глядя на детишек, которые со смехом резвились внизу. Иннокентий Михайлович внезапно рассмеялся.

– Представляю, что ты мог подумать обо мне сейчас.

Константин Сергеевич глянул на улыбающегося хозяина и вторично подумал: а врачи-то ошиблись.

– Что же я, по-твоему, мог подумать?

– А то, что эгоист беспробудный: сам в могилу собрался, так и другим не надо о здоровье заботиться. Ещё ведь и неизвестно, если бы и дали мне лишних пять-шесть лет, сумел я хотя бы внуков людьми воспитать – научить их мечтать. А другой-то цели у меня нет. Другой ещё не придумал.

Константин Сергеевич решил отвлечь друга от этой темы, переключить разговор в более приятное ему русло.

– В шахматы по-прежнему в силу первого разряда?

– Какой там. На третий не вытяну. В клуб далековато ездить, игру по переписке давно забросил. Среди соседей партнёров не сыскал. Наведывался один, так его учить надо, а учить поздно – он в нашем возрасте.

Константин Сергеевич подумал, не предложить ли ему сгонять блиц, но у самого настроения не было, и Иннокентий Михайлович не проявил охоты. Ему куда больше хотелось выговориться о наболевшем, передуманном.

– Вчера с Генкой Великановым чуть не до драки рассорился – ты куда-то вышел ненадолго, – со смешком заговорил Иннокентий Михайлович. – Он начал молодых хаять, а я ему скажи: мол, в том, какие они, плохие или хорошие, больше чем наполовину наша вина или наша заслуга. Заслугу он признал – принял, а против вины восстал. На рожон полез, чем, дескать,

я виноват: я честно воевал, честно работал. Теперь на заслуженном отдыхе. А он разговор начал с того, что на своих сыновей жаловался... А вот тем, говорю, и виноват, что сыновей не сумел воспитать. Ну его и понесло, раскраснелся, раскудахтался. Я думал, его кондрашка хватит. А по-моему, – Иннокентий Михайлович глянул в глаза своего гостя, – по-моему: какие бы за нами заслуги ни значились, всем им грош цена, если мы наших детей проморгали, отдали их во власть сытого да тряпичного благополучия.

Пора уже было подумать, как ему добираться в гостиницу. Иннокентий Михайлович заверил его, что на ближайшем перекрестке у светофора поймать попутное такси в центр города не сложно. И оказался прав: Константин Сергеевич не ждал и двух минут.

Перевалили через Кайскую гору, и начался спуск к ангарскому мосту. Взгляду открылась вся правобережная часть города. Широко расползлись по окрестным сопкам новые улочки, каких в его пору не было. Одни, более поздние, застроены типовыми коробками, другие – одноэтажными бревенчатыми домами, рубленными, по всей видимости, в первое послевоенное десятилетие. Причудливым орнаментом перемешались они друг с другом.

Слева у Ангары, вздымаясь поверх сопки, торчала гигантская труба, разлинованная на красные и белые поперечные полосы. Границы между ними закоптились сажей, размылись дождями. Справа в отдалении поднялась телевизионная вышка. Два этих ориентира подменили прежние – церковные купола. Верно, кой-какие церквушки ещё остались, иные даже отреставрированы, но нынче они уже не господствовали над городом, а потерялись, задавленные многоэтажками. С новыми туповерхими крышами мог бы соперничать один Тихвинский собор, сохранился он до наших дней.

В лучах закатного солнца окна верхних этажей взблескивали кровавыми сполохами. Вдалеке близ кладбищенской горы не вдруг отыскал взгляд тяжеловесную громаду Казанской церкви, подле которой прошло его детство. А когда уже спустились на мост, увидал на другом берегу уродливо скошенный зубец дома, поразившего его накануне своим марсианским обличем. Со стороны он напоминал обломленный волчий клык.

«Вот к чему пришли», – с тоскою подумал Константин Сергеевич.

Он улетел вечерним рейсом. В аэропорт приехал засветло, но когда закончили посадку и лайнер вырулил на взлётную полосу, стемнело. Самолёт делал круг, набирая высоту. Внизу галактикой электрических огней распластался город. На фоне догорающего заката отыскал две гигантские трубы и поблизости от них расцвеченную вечерними огнями девятиэтажку на Сенюшиной горе. Возможно, Кеша, уложив внуков в постель, вышел сейчас на балкон, продолжая думать свою мучительную думу – отыскивая ошибки, совершенные в прожитой жизни...

Люба Смирнова исполнила обещание. В начале октября Константин Сергеевич получил телеграмму. Спешно собрался. Заодно оформил отпуск, чтобы из Иркутска не возвращаться в Читу – улететь к внукам на Чёрное море.

Под стекло на временной фанерной тумбочке со звездой укрепили фотографию. Снимок сделан лет пять назад, ещё до начала разрушительной болезни. Фотография на редкость удачная. Проницательный, вдумчивый взгляд мудрого и стойкого человека. Невольно пожалел, что не встречался, не разговаривал с ним в пору, когда он был вот таким. И всё время, пока летел в Адлер, мысленно видел Кешу только таким, как на фотографии, – его проницательные глаза, беззлобную, ироническую улыбку.

А сошёл с трапа в конечном порту, повеяло в лицо свежестью нагретого морского воздуха – мыслями перенёсся к внукам. Автобус не стал ждать, решил потратиться на такси. Пусть много дороже, зато он выгадает целый час. Этот час ему вдесятеро нужнее потраченных денег.